

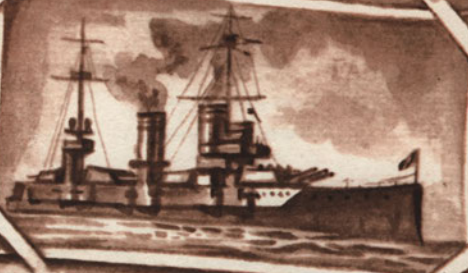
Олег Орлов

ЦЕМЕССКАЯ БУХТА



Л

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





Очки Мейера

Олег Орлов

ЦЕМЕССКАЯ БУХТА

Повесть
и рассказы

Москва «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1981

Оформление Е. Суматохина

Орлов О. П.

О-66 **Цемесская бухта: Повесть и рассказы.** — М.:
Дет. лит., 1981.—96с., ил.

В пер.: 40 к.

В книгу включены повесть «Цемесская бухта» и документальные рассказы о моряках-героях времен революции и Великой Отечественной войны.

© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

○ 70802—535
М101[03]81 292—81

P2



ЦЕМЕССКАЯ БУХТА

Глава первая. НЕПОНЯТНЫЕ СОБЫТИЯ

«Дорогая моя Лидочка!

Вот уже два месяца, как я не писал тебе писем, потому что не было у меня такой возможности. Но опишу события прошедших дней по порядку.

Миноносец мой вместе с несколькими кораблями Черноморской эскадры в конце апреля ушел из Севастополя. Пошли полным ходом в порт Новороссийск. В Новороссийские дни, можно сказать, были сумасшедшие и тревожные. Никто толком ничего не знал, и немногие понимали, что делается на Черном море и на флоте, да и вообще в России...

У выхода из бухты, которая называется Цемесской, нас могли поджидать скрывавшиеся под водой немецкие субмарины. Но мы прошли благополучно.

В Цемесской бухте корабли стали где как: одни — отдал якорь, другие у портового мола, кто и на бочках.

Связи с Москвой по телеграфу почти не было. На Кубани уже началась гражданская война.

В Новороссийске власть советская, но в городе много всякого сброду. Подозрительные люди мутят жителей и ждут того времени, когда подойдут кайзеровские войска. В городе голодно, так что на кораблях мы ничего, кроме солонины да сухарей с чаем, и не видим. На базаре все дорого. Картошка здесь, говорят, родится плохо, потому что сажают на камнях. За куру тощую просят хорошие сапоги...

Места, впрочем, здесь красивые, по горам лес, и, говорят, в нем растет и дикая груша, и кизил, из которого местные варят хорошее варенье. Есть грецкий орех и виноград.

Прерываю, однако, письмо мое и допишу потом. Причина такая: всю команду созывают на митинг.

...Итак, продолжаю. После митинга начались совсем непонятные события. С одной стороны, получен секретный приказ — затопить корабли, чтобы они не достались немцам, и подписал приказ сам Ульянов-Ленин. А с другой стороны, кое-кто из команды начал кричать, что приказ не настоящий, а подослан врагами революции. Кто говорил даже об измене и что флот ни в коем случае топить нельзя, а если потопим, то будем предателями России. Вот ведь какое дело! Да и вправду сказать, такие корабли! И пушки на них, и снарядов и мин — полный запас. И все это стоит больших денег. Жаль топить. А с другой стороны, и немцам сдать эскадру нельзя.

Прости, дорогая Лидочка, но снова вынужден я прервать письмо, так как на палубе сильный шум и слышно: бегут по трапам. Надо идти и мне, ничего не поделаешь.

...Снова пишу тебе по прошествии часа. Дело было вот в чем. Пришли корабли, которые еще оставались в Севастополе после нашего ухода оттуда. Когда мы с красными флагами на мачтах ушли в Новороссийск, дредноуты, то есть самые мощные корабли, оставались еще там. Адмирал, предатель и бывший царский слуга, смог на время обмануть команды. Потом-то матросы одумались и пошли вслед за нами. Сейчас эти корабли как раз встали на рейде, и вся бухта словно курится серыми дымками — это гасят топки.

Но самое удивительное, что я сообщу тебе, — впереди. Можешь ли ты представить себе, что когда мимо нас проходил дредноут «Воля», на корме его играл выстроенный по-парадному корабельный оркестр, в котором заметил я большую трубу — геликон. Сразу же подумал я об одном человеке — ты, наверное, догадываешься, о ком. Но потом решил, что быть ему здесь неоткуда. Когда «Воля» медлен-

но проходила мимо нашего миноносца, я вдруг подумал, что он тоже может узнать меня, и отступил в тень рубки. Но с другой стороны, откуда ему знать, что знаю я? Я, как ты помнишь, писал тебе из Свеаборга о нем... Повторять же не буду, так как времена смутные и неизвестно, в какие руки может попасть письмо. Видишь, сколько сразу случилось непонятных событий.

Не знаю, как вы там живете. Как дети? Если будет плохо, продай дом и уезжай к старикам в Мезень.

Целую и низко всем кланяюсь.

Твой муж, машинный механик миноносца Александр Салтыков.

5 мая 1918 года».

Вот какое письмо написал когда-то мой дедушка, Александр Евгеньевич Салтыков, своей жене и моей бабушке, Лидии Петровне Салтыковой.

Глава вторая. СТАРИННЫЕ ФОТОГРАФИИ

Я очень любил разглядывать старинные фотографии в бабушкином альбоме.

Альбом бабушка берегла. Он хранился в шкафу, а шкаф запирался на ключик. Но мне, когда я просил посмотреть фотографии, бабушка альбом из шкафа доставала и давала из рук в руки.

Альбом был тяжелый, крышки кожаные, в твердых пупырышках.

Сперва нужно было расцепить медные застёжки, а потом смотреть фотографии.

Хорошо фотографировали в старину: все до мелочей видно, до мелких подробностей. И каждая фотография — на толстый картон наклеена, чтобы не измялась. А на картоне — золотые тисненые листья и медали — за то, что фотограф снимал титулованных особ...

На первых листах альбома были фотографии самые старинные — еще родителей бабушки и дедушки. Взрослые сидели в креслах с высокими резными спинками, положив руки на колени, младшие почтительно стояли позади. Все были празднично одеты, и лица у всех были очень торжественные.

Хоть я и очень любил и уважал бабушку, эти фотографии

особенно не разглядывал, разные там свадебные да семейные... Для меня интересное начиналось с того времени, когда дедушка пошел служить во флот,— фотографии военных кораблей и моряков. Был здесь и дедушка— молодой, с небольшой бородкой и короткими усами.

Дедушкиных фотографий, собственно, было немного. Три—где дедушка был один. И еще групповая, где он снят вместе с другими моряками. О ней я расскажу еще подробно, потому что было в этой последней нечто такое, что тревожило меня с тех дней, когда я, еще мальчишкой, в первый раз раскрыл альбом.

На портретах дедушка был сфотографирован в разные годы—они были обозначены бледными от времени чернилами на оборотной стороне фотографий: «1903», «1905» и «1914»...

На одной дедушка стоял в полной матросской форме, и на бескозырке можно было прочитать надпись: «МИННО-МАШИННЫЕ КЛАССЫ». Это когда он учился. На другой дедушка был на палубе небольшого военного корабля. На третьей—набережная какого-то города с чистенькими домиками с острыми, высокими черепичными крышами, и дедушка стоит.

Так вот, на фотографии, где дед был не один, а среди матросов, которые стояли возле броневой башни под тремя пушками, похожими на фабричные трубы,— удивительное дело!—лицо одного из матросов было совершенно замазано черными чернилами. Не случайно замазано, а нарочно.

Как-то я спросил дедушку: почему замазано лицо матроса на фотографии?

Взял дедушка в руки тяжелый альбом и долго смотрел на фотографию...

— Когда-нибудь расскажу,— ответил он мне.— Длинная это история. И до сих пор не очень понятная. А ты мал и не все сейчас поймешь.

Но дедушка так и не рассказал. Все, наверное, считал, что я еще мал. А потом дедушка умер. Осталась только бабушка. А бабушка про ту фотографию ничего не знала.

Вообще-то бабушка любила смотреть фотографии вместе со мной и, что помнила, рассказывала.

— Вот эту,— говорила она,— дедушка прислал из Кронштадта. Здесь он совсем молодой... У нас тогда первый ребенок родился. А эту в 1905 году, из города Або... У меня уже двое детей было... А где дедушка на набереж-

ной — из Гельсингфорса. Трое у меня уже было детей... А эту, где пушки-то, тоже из Гельсингфорса, незадолго до того, как матросы на корабле взбунтовались. И дедушка бунтовал против царя. Их всех схватили и бросили в тюрьму. Когда дедушка дожидался суда, я вся извелась: казнить могли дедушку, расстрелять. Но моряков было слишком много, чтобы всех расстрелять. Дедушку сперва сослали в штрафные роты, а потом перевели на другой корабль, на Черное море. Акварельку эту, — бабушка показывала на небольшой рисунок, что висел у нее над кроватью и где по бурному морю мчался, дымя трубами, военный корабль, — акварельку дедушка смог переслать, когда сидел в тюрьме. Ждал он, что его расстреляют, и переслал из тюрьмы на память. А рисовал акварельку дедушкин друг детства, Ваня Лепешкин. Талант у него был необыкновенный — картины рисовать, хотя никто его и не учил. Их в детстве-то было три друга. И жили они с нами по соседству. Если дальше к Двине по нашей улице идти, будет дом Лепешкиных, а напротив бывшей гимназии, угловой, каменный, — это дом Каргиных, где жил Костя Каргин, второй дедушкин дружок. Вместе они и во флот пошли служить. Костя-то Каргин за мной сперва ухаживал, но дедушка твой кавалер был хоть куда и женился на мне. Но все равно они дружили. Правда, из них я больше Ваню Лепешкина отличала. Он на этой-то фотографии, где пушки, крайний стоит. Рыжий он был, на фотографии-то не видно. А сам крепкий и жилистый, в отца. Отец его работал пильщиком на Двинской лесопилке. Бедные Лепешкины были, вроде нас, Салтыковых. Каргины-то позажиточнее, из купцов. С гражданской так и не вернулись оба — Каргин и Лепешкин...

При этих словах бабушка всегда вытирала платком добрые свои глаза.

Дедушкино письмо, с которого я начал рассказ, хранилось здесь же, между последних листов альбома. Я его перечитывал всегда, когда смотрел альбом.

Как-то я спросил бабушку, о каком человеке упоминается в письме? И бабушка ответила, что не знает. Про письмо из Свеаборга бабушка тоже ничего сказать не могла. Не было вроде бы от дедушки такого письма. Точно даже совершенно, что не было. Иначе бы это письмо у нее, как и все прочее, что она бережно сохраняла, имелось бы.

Бабушка моя умерла восьмидесяти трех лет от роду и была похоронена рядом с дедушкой на Кузнецовском

кладбище в Архангельске. Альбом с фотографиями и письмо деда остались мне в наследство. И еще старая лоция Средиземного моря, которую я, полистав, оставил без внимания. Потому что мели и якорные стоянки на этом море мне были совершенно ни к чему. Но лоцию я решил сохранить тоже — как память о дедушке.

Да, совсем забыл: осталась еще та самая голубая акварелька в ореховой рамке, висевшая раньше над бабушкиной кроватью, где корабль мчался по бурному морю в неизвестную даль... Может быть, на нем тоже служил мой дедушка? Недаром ведь эту акварельку дедушка послал бабушке на память, когда сидел в тюрьме за бунт против царя...

Хорошие, надо вам сказать, были у меня бабушка и дедушка.

Глава третья. Я ЕДУ В НОВОРОССИЙСК

Прошло с тех пор довольно много лет. Из Архангельска я уже давно уехал и работал и жил в Ленинграде.

Альбом с фотографиями, письмо, лоция Средиземного моря и голубую акварель я хранил и берег.

И знаете ли, с годами та фотография, на которой лицо одного из матросов было замазано чернилами, меня как-то занимала все больше. Сам не знаю почему.

Кто? Когда? Зачем это сделал? Без причины ничего ведь не делается на свете. И уж тем более не замазываются лица на фотографиях...

Перечитывал я иногда и письмо. Кто был тот человек, про которого писал дедушка? Человек, игравший на большой трубе, называемой бас-геликон? Еще одна загадка. Только ответ на нее никто уже дать не мог...

О потоплении эскадры я кое-что уже знал, только очень немного. Знал, что в гражданскую войну, чтобы не отдать русские корабли немцам, которые воевали с молодой Советской Россией, флот затопили по приказу Ленина в Цемесской бухте. Правда, часть кораблей, не подчинившись приказу, ушла и воевала против нас на стороне белых. А когда белые удирали из Крыма, они увели эти корабли куда-то за границу, не то в Турцию, не то во Францию.

Но хотел бы я знать, что случилось с тем миноносцем, на котором пришел в Новороссийск дедушка.

Новороссийск, Цемесская бухта, дредноут «Воля»... Связь

между ними, безусловно, была. И была здесь скрыта какая-то тайна.

О самом Новороссийске слышал я не раз. Да и кто из вас не знает теперь названия этого города? Новороссийск, Малая земля, легендарный ночной десант на Малую землю. Все это было в годы Великой Отечественной войны на берегах той самой Цемесской бухты.

И вот случилось мне поехать в Новороссийск по делам, к этому рассказу совсем не относящимся. Но дедушкины фотографии и голубую акварель уложил я в дорожный чемодан.

Новороссийск оказался городом не очень большим, чистым и светлым, как бы промытым солеными ветрами и просушенным веселым солнцем.

Белые дома подковой окружали Цемесскую бухту.

Неширокие улицы то поднимались в гору, то спускались к морю. Заплутать в Новороссийске нельзя: море видно почти с каждого перекрестка.

Решил я сразу пойти в местный музей. В музее, наверное, знают подробности о потоплении эскадры...

Однако в музее ничего особенного, относящегося к тому, что мне хотелось разыскать, я не нашел. Я походил среди чучел птиц и зверей, которые когда-то обитали в Краснодарском крае, потом осмотрел продукты китобойного промысла и водолазный костюм. Под костюмом была табличка: «Этот водолазный костюм принадлежал известному водолазу Х. Осадчему, который провел под водой 2000 часов. Подарен музеею после того, как Х. Осадчий совершил последнее погружение».

С большим интересом разглядывал я и маузер времен гражданской войны и надолго задержался возле панорамы штурма Новороссийска, когда наши отбивали город у фашистов.

О механике Салтыкове я не нашел ничего.

«Что ж,— сказал я себе,— обратимся к научным музейным работникам». И постучал в комнату дирекции.

Там, как только я заикнулся об эскадре, мне сразу сказали:

— Вам нужен Петр Петрович! Петр Петрович был на эскадре! Он был на «Керчи» вместе с Кукелем!

— С каким Кукелем?— спросил я.— Кто такой Петр Петрович?

— А он живет в нашем городе! Старый и уважаемый капитан, Петр Петрович... А Кукель командовал миноносцем

«Керчь», который и потопил эскадру. Если хотите, вот его адрес.

— Кукеля?

— Да нет же, Петра Петровича! Кукель, к сожалению, давно умер.

И я скорее записал адрес Петра Петровича. Тут одна женщина, научный работник наверное, спросила:

— А вы вообще разыскиваете моряков с эскадры?

Я ответил, что мой дедушка когда-то служил на одном из кораблей этой самой эскадры.

— И тоже на «Керчи» с Кукелем?

Этого я не мог сказать. Тогда эта женщина, научный работник, подвела меня к окну, из которого виднелся кусочек бухты, и объяснила, что если я сяду на автобус номер шесть и поеду по берегу, то попаду на восточный берег Цемесской бухты. Это историческое место: памятник затопленным кораблям.

Когда я вышел из тихого и прохладного музея, то решил: прежде чем разыскать Петра Петровича, съезжу на ту сторону бухты и посмотрю место, где лежат затонувшие корабли...

Сел я в автобус номер шесть и поехал. Проехал парк, потом порт, где штабелями лежали желтые доски, потом высокие портовые краны, потом большой мост над железной дорогой. На повороте автобус притормозил, и я заметил странный вагон. Точнее, это был остов вагона, весь в рваных дырах. Но я так и не понял, что это за вагон, потому что мы его проехали. Потом замелькали маленькие белые домики посреди зелени и цветов в палисадниках. Дорога начала повторять изгибы берега, и автобус кидало то влево, то вправо. И вдруг на одном из поворотов я увидел этот памятник — факел с пламенем. И факел и пламя были из камня, и когда я выбрался из автобуса и подошел поближе, то прочитал на памятнике надпись:

**«ВВИДУ БЕЗВЫХОДНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ, ДОКА-
ЗАННОЙ ВЫСШИМИ ВОЕННЫМИ АВТОРИТЕТАМИ,
ФЛОТ УНИЧТОЖИТЬ НЕМЕДЛЕННО.**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВНАРКОМА

В. УЛЬЯНОВ /ЛЕНИН/

24 мая 1918 года».

Место, где стоял памятник, было высокое. Скалы уходили отвесно вниз, и спуска к морю не было. Я смотрел на темно-синюю воду и вспоминал дедушку. Здесь когда-то

был и его корабль, и дедушка смотрел на эти берега, когда писал бабушке письмо.

И я представил себе, как в этой глубине лежат затопленные корабли... Дредноуты, эсминцы, миноносцы... Одни на ровном киле, как будто плывут еще. Другие—кто на боку, кто ткнувшись кормой или носом в каменное дно... Скользкие водоросли свисают, наверное, с их бортов и колышутся медленным течением. В дулах орудий хоронятся морские рыбы и крабы. И ничто не может нарушить покой затонувшей эскадры. Так я тогда думал.

Я еще не знал, что кораблей здесь нет...

Глава четвертая. ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Найдя домик капитана, я постучал в дверь. В ответ странный скрипучий голос произнес непонятные слова: — Пушки на больварки! Картечью по палубе!

Я замер. Тишина наступила и в доме. Но что это за голос я слышал? Что за непонятные слова? Может быть, это не тот дом?

Я заглянул в клочок бумаги с адресом. Нет, дом тот.

Я постучал еще раз, но более робко. И тот же голос заскрипел снова:

— Боцман, гр-р-р-рязь на палубе! Вздерну на реел

Я отошел на всякий случай от двери, но тут услышал голос совсем другой и, я бы сказал, очень добрый. Кто-то сказал:

— Федька, перестань безобразничать! В чем дело? Кто-нибудь постучал?

— Постучал, мокрый шкот ему в глотку! — отвечал невидимый и ужасный Федька.

— Войдите! — спокойно сказал добрый голос. — Не заперто.

Я осторожно вошел в коридорчик и осмотрелся. Коридорчик был узкий оттого, что по обеим сторонам его тянулись полки с книгами. Под потолком висела засушенная крупная серая акула с серповидным хвостом и страшной пастью...

Я миновал коридорчик и попал в большую комнату-кабинет. За письменным столом сидел пожилой человек со светлыми и веселыми глазами и седой головой. За спиной его в высокой клетке куполом не жердочке головой вниз

висел облысевший от старости попугай. Веки его были в морщинках.

— Чем могу быть полезен?—спросил человек.

— Бросить его в трюм!—сказал попугай. Это и был Федька.

Хозяин же дома, Петр Петрович, дружелюбно указал мне на стул и спросил, пристально на меня глядя:

— Чем обязан вашему приходу?

В тот момент я еще не знал, что знакомлюсь с человеком необычайным во многих отношениях. Поэтому позвольте мне забежать немного вперед и рассказать кое-что о нем.

Начну хотя бы с того, что прапрапрадедушка Петра Петровича служил в шведском флоте в те самые времена, когда царь Петр Первый воевал с королем Карлом Двенадцатым. Этот капитан как раз командовал десятипушечным кораблем «Гедан».

«Гедан» и еще один корабль вошли в устье Невы и встали на якорь, даже не подозревая, что с невских берегов за ними следят русские солдаты. Впрочем, шведы знали, что у русских нет больших кораблей и в бой они вступить не посмеют.

Но русские были не дураки: две роты солдат сели в лодки и, пользуясь темнотой, напали на шведов. Шведы кинулись было к пушкам, но лодки русских были уже у них под бортом, и из пушек их было не достать. Шведы обрубили якорные канаты, чтобы уйти, да паруса поднять не успели, как корабли были захвачены. Шведский капитан хоть и храбро отбивался, но должен был спустить флаг и отдать свою шпагу победителям.

— Храбрец!—сказал Петр, обрадованный победой, и велел вернуть капитану шпагу.—Предложите ему служить в русском флоте!

Капитан подумал и согласился. Женился он на русской и первого сына назвал в честь своего победителя Петром. И завещал, чтобы внуков и правнуков называли только Петрами. Так и пошли Петры Петровичи, и все—капитаны.

Вот только у Петра Петровича, к которому я пришел, сыновей, к сожалению, не было, и на нем должна была закончиться эта семейная традиция.

На морях Петр Петрович провел пятьдесят лет. Но ослабело зрение, и здоровье стало не то, что прежде, когда

Петр Петрович проводил на капитанском мостике по пять суток подряд, совсем без сна, и ушел он на заслуженный отдых. Поселиться же решил неподалеку от моря. И выбрал город Новороссийск.

Во многих южных портовых городах, надо вам сказать, живут старики капитаны.

В городе Одессе их можно увидеть на Приморском бульваре, в Батуми — в кофейне, что возле яхт-клуба, в Севастополе — у Лазаревского акведука, в Аполлонке...

Им совершенно необходимо каждый день видеть это самое море, посидеть на берегу и перекинуться парой слов с такими же, как они, стариками, да вспомнить, как оно все было при них, да сравнить с тем, что стало сейчас.

Случись им переселиться насовсем в город без моря — они умрут, как умирает без воды рыба.

Носят они старенькие, застиранные морские кители, фуражки с «крабом», и некоторые курят трубки...

Петр Петрович, правда, фуражку с «крабом» не носил и трубку не курил. Но очень любил, как опять-таки я узнал позднее, пить чай с кизилковым вареньем.

Домик у Петра Петровича был небольшой — две комнаты и кухня. В одной комнате кабинет, в другой — спальня.

О, что это была за удивительная комната — кабинет Петра Петровича! Чего здесь только не было! И чего я только здесь не увидел!

И раковины из Вест-Индии, и бумеранги из Австралии, и белого священного крокодила из Африки, и чучела диковинных рыб из Карибского моря...

Я трогал мушкетные пули, разглядывал тяжелые, пролежавшие под водой многие годы и оттого спекшиеся в коралловые слепки серебряные монеты, и там, где коралловый слепок был разломан, монеты эти тревожно блестели, словно не желая выдать какие-то преступления давно минувших дней.

А старинные мореходные инструменты из желтой бронзы! А модели парусных и паровых кораблей, стоявшие на полочках из красного дерева! В стеклянных футлярах, изящные, с отклоненными назад мачтами, с медными штучками на палубах...

Был здесь и чайный клипер из тех, что участвовали в знаменитых гонках клиперов из Фучжоу в Лондон. И знаменитый бриг «Меркурий». И первый пароходик, который еще

при жизни Пушкина начал ходить из Петербурга в Кронштадт. Только назывался он тогда не парохомом — такого и слова-то тогда для парохомов люди не придумали, — а пироскафом...

Были и книги. О морских приключениях, о путешествиях, о кораблекрушениях. Лоции разных морей. Издания с золотым тиснением на темной и желтой коже переплетов.

Да, это была, конечно, удивительная комната!

В тех местах, где стены были свободны от книг, висели картины, а на картинах в белых облаках дыма сражались корабли. С их бортов выплескивались языки пламени — это палили пушки. Там, на картинах, среди зеленых волн погружались в пучину мачты и на реях, как муравьи на ветках, лепились люди — ужасное зрелище!

На одной картине было море в полный штиль и корабли с повисшими плоскими парусами. На другой — корабли неслись по темным волнам и паруса были выпуклы и туго надуты ветром. А на третьей картине военный фрегат разбивался о черные скалы...

— Так что же привело вас ко мне? — спросил Петр Петрович.

Я вздохнул и начал свой рассказ.

Глава пятая. ГИБЕЛЬ ЭСКАДРЫ

— Так, так, так... — сказал старый капитан, когда я рассказал ему все, что знал. — Значит, письмо вашего многоуважаемого дедушки заканчивается описанием торжественного момента, когда дредноут «Воля» вошел в Цемесскую бухту.

И при этих словах он задумался. Он, наверное, мысленно перенесся на десятки лет назад, когда совсем-совсем молодым моряком видел все, что происходило в бухте, своими глазами.

Тогда тоже был май, и ветер, наверное, так же покачивал ветки цветущих абрикосов и вишен, и на землю осыпались лепестки. И так же синело море. Потому что многое меняется в мире — архитектура домов и одежда людей, дороги и машины, и корабли тоже. И многое человек может изменить даже в облике Земли, срывая горы или, наоборот, нагромождая там, где их не было, но аб-

рикосовые деревья будут цвести все так же, и море будет синеть все так же, как и сотни и тысячи лет назад...

— Так на чем же мы остановились? — вернулся из задумчивости Петр Петрович.

— Дредноут «Воля» вошел в Цемесскую бухту...

— Да, да. Он встал на якорь в западной части ее. Как сейчас помню. Окрашенный в серый цвет, оцетинившийся пушками, выглядывающими из глухих бортовых казематов... На корме его действительно играл, как это ни странно, оркестр. Хотя играть, собственно, было тогда совсем не время: эскадра оставила обреченный Севастополь.

Обреченный потому, что немцы, захватив Перекоп, как зеленая саранча, расползались по всему Крыму. В середине апреля они нарушили Брестский договор и начали военные действия. Их соблазняло не только сало и пшеница. Их соблазнял Черноморский флот, стоявший в Севастополе. Немцы назначили гетманом Украины Скоропадского, бывшего генерала царской армии. Отрядов Красной гвардии было мало, и немцы отодвигали их к южному побережью Крыма медленно, но неумолимо. И готовились захватить Севастополь. Оставаться кораблям в Севастополе — значило попасть в руки к врагу. Уйти можно было только в один порт, где еще была Советская власть, — в Новороссийск.

Надо вам сказать, на Черноморском флоте положение было сложнейшим. Тут и меньшевики, и анархисты, и украинские националисты, и эсеры... Кто был за то, чтобы драться с немцами немедленно, всем флотом, кто за то, чтобы поднять на всех кораблях желто-голубые флаги украинской Центральной рады... Именно тогда хитрейшая лиса, генерал Кош, командующий немецкими войсками, подослал на корабли людей с обещанием прекратить наступление, если желто-голубые флаги будут подняты над всеми кораблями Черноморского флота...

Только большевики, подчиняясь приказам из Москвы и понимая сложность положения, настаивали на уходе кораблей из Севастополя.

Пока митинговали, немцы прошли Лабораторное шоссе и подтянули пушки. Мы на миноносцах ушли в Новороссийск раньше, линейные корабли, или, как их тогда называли, дредноуты, — немного позже. Вы бывали когда-нибудь в Севастополе? Нет? Тогда я нарисую, и вам кое-что станет ясно...

И Петр Петрович уверенной рукой изобразил нечто вроде карты, а на ней карандаш быстро обозначил большой длинный залив и заливы поменьше, бухты и бухточки.

— Это,— пояснял Петр Петрович,— главный Севастопольский рейд, или Северная бухта. Здесь бухта Южная, здесь Артиллерийская. Это Херсонес. Это Инкерман. В этой части— высоты Братского кладбища. Стоит на высотах поставить пушки— можно перекрыть выходы в море. Это-то немцы и решили сделать. Да опоздали. Ночью почти все оставшиеся корабли Черноморского флота начали выходить в море, и когда немецкие артиллеристы открыли огонь, небольшие снаряды полевых пушек уже были не опасны бронированным кораблям, исчезавшим в темноте ночи. И дредноуты ушли, держа под прицелом Константиновский форт, Херсонес и город, по улицам которого уже скакали разъезды немецких улан и разбойничьи банды Скоропадского.

Теперь вы можете представить, как стало тесно в Цемесской бухте в те действительно тревожные дни...

Ваш покорный слуга в это самое время был обыкновенным матросом на миноносце «Керчь».

Командовал «Керчью» лейтенант Кукель, человек, преданный делу революции.

И вот в то самое время, которое так достоверно перedal в своем письме ваш дедушка, флот получил из Москвы секретную телеграмму за подписью Владимира Ильича Ленина. Это был приказ об уничтожении флота. Иначе бы корабли попали в руки немцев. А немцы передали бы корабли белым. Так что приказ затопить в Цемесской бухте флот был мерой суровой, но необходимой.

Ленин, как никто, умел предвидеть развитие событий. Он знал: если не затопить флот, он станет силой в руках врага. Затопленные же корабли— не всегда корабли потерянные.

Немцы к тому времени послали Советскому правительству ультиматум: или мы, черноморские моряки, сдаем им флот, или они начинают наступление на Москву.

Нам нужно было выгадать время. Хотя бы несколько суток, чтобы снять с кораблей все ценное— боеприпасы, приборы, легкое оружие, продовольствие, топливо.

Эскадрой, собравшейся к тому времени в Цемесской бухте, командовал адмирал из бывших царских адмиралов. Он прикинулся, что готов служить революции. На самом

же деле — об этом в те дни никому не было известно — он задумал предательство...

Уже много позднее чекистам попали в руки документы, из которых было видно, что адмирал — изменник. И именно в те дни из Новороссийска, с дредноута «Воля», где адмирал держал свой флаг главнокомандующего, он послал верного ему человека к генералу Краснову с тайным письмом. В письме излагался план, как сделать, чтобы флот попал к белым.

И белогвардейский генерал Краснов переслал ответ: «Сделайте все, чтобы вернуть флот в Севастополь». А уже с гетманом и с немцами Краснов бы договорился.

Адмирал повел хитрую игру. В Москву, Советскому правительству, он посылал телеграммы о готовности исполнить приказ о потоплении флота. А командирам кораблей объявил, что положение меняется с каждым днем и поэтому он должен ждать из Москвы новых приказов, а старые не выполнять. Вот тут-то многие и стали называть адмирала изменником. На кораблях эскадры начались митинги.

Адмирал понял, что его могут попросту арестовать. И «Воля» — адмиральский корабль тайком, не зажигая огней, ночью ушел из Цемесской бухты. За дредноутом ушла часть эскадры, потому что адмирал сумел-таки обмануть командиров кораблей: он передал им, что выводит флот в море, чтобы сразиться с германским флотом. А сам пошел полным ходом в Севастополь.

На «Керчи» в ту ночь многие из команды не спали. Не спал и я. С верхней палубы миноносца мы первые и заметили темный и тяжелый силуэт «Воли», двинувшейся к выходу из бухты. Вслед дредноуту моряки просигналили фонарем Ратьера: «Позор изменникам Родины».

Утром наш командир лейтенант Кукель принял на себя командование над оставшейся в Цемесской бухте частью Черноморской эскадры. И в тот же день приказал начать затопление кораблей. Немецкие разьезды уже двигались со стороны Крымского полуострова.

Если бы вы видели Новороссийск в те дни! Все население города, казалось, высыпало на берега бухты. Многие на яликах и шлюпках в тот день подгребали к кораблям, пытаясь забраться на палубы и начать грабеж. Помню, войдя в каюту, я увидел, как кто-то снаружи, стоя в лодке, тянул крюком через открытый иллюминатор одеяло с моей койки. «Сейчас стреляю!» — крикнул я громко, и бандиты в лодке поспешно стали грести прочь от миноносца.

С утра мы начали на буксире выводить разоруженные, обезлюдившие, неживые корабли в то место бухты, где были самые большие глубины. На фалах под реями ветер полоскал флаги, означавшие сигнал, издавна известный всем русским морякам: «Погибаю, но не сдаюсь».

К четверем часам дня все корабли были выведены из порта и чуть покачивались на отданных якорях на зыби, катившейся мимо мыса Дооб со стороны открытого моря. Солнце разогнало туманную дымку над бухтой. На «Керчи», нашем миноносце, колокола отгремели тревогу и завыл ревун минной атаки. Первая мина с «Керчи» ударила в борт «Фидониси». Белый столб дыма и пены опрокинул миноносец. Кто-то на палубе «Керчи», стоя рядом со мной, тихо плакал, снявши бескозырку и уткнув в нее лицо. Да и нельзя было смотреть без слез на гибель кораблей.

Последним мы потопили дредноут «Свободная Россия». Он затонул только после того, как с «Керчи» по нему выпустили шестую мину...

Через час все было кончено. Мы выполнили секретный приказ Ленина.

Чайки носились над потревоженными водами Цемесской бухты. Они зло кричали и дрались из-за рыбы, оглушенной взрывами.

Лейтенант Кукель приказал рулевому «Керчи» взять курс в открытое море. Мы пошли полным ходом.

Не дойдя нескольких миль до Туапсе, вблизи берега миноносец застопорил машины. Две наши небольшие шлюпки сновали к скалистому мыску и обратно, перевозя команды и наши нехитрые пожитки.

На «Керчи» Кукель оставил шесть человек — пятерых матросов и радиста. Я был в их числе. Радисту Кукель передал тетрадный лист с текстом для передачи по радио: «Всем, всем, всем...» А нам приказал открыть кингстоны и после этого, не мешкая, спускаться в шлюпку. Телеграмма, которую Кукель приказал передать радисту в эфир, стала исторической.

Текст ее был такой: «Всем, всем, всем! Погиб, уничтожив часть судов Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Вот и все,— закончил свой рассказ Петр Петрович.— Корабли, которые смог-таки увести в Севастополь изменник-адмирал, попали к немцам. Потом — к Деникину. После разгрома Красной Армией Деникина корабли оказались

у Врангеля. Врангель, когда Красная Армия вышвырнула и его с территории Республики, увел корабли за границу, и там следы кораблей-эмигрантов, как и эмигрантов-моряков, затерялись. Бесславная, впрочем, судьба.

Сейчас на берегу Цемесской бухты, напротив того места, где мы когда-то затопили эскадру, стоит памятник.

— Памятник я видел,— поспешно сказал я.— Перед тем как разыскать вас, я как раз поехал на ту сторону бухты и видел памятник. Мне даже показалось, что в темной глубине я вижу и сами затопленные корабли.

— Ну, этого-то как раз и не может быть,— сказал Петр Петрович.

— Почему? Наверное, в тихую погоду можно увидеть.

— Нельзя. Кораблей там никаких нет.

— Как нет?

— В тридцатые годы наши водолазы начали один за другим поднимать корабли. И подняли их. Так что видеть, их там, под водой, вы никак не могли.

Глава шестая. НЕВОСПИТАННЫЙ ФЕДЬКА

Я поблагодарил Петра Петровича за все, что узнал от него.

— Пустяки,— отвечал он.— Мне самому было приятно и интересно припомнить все это. Я словно побывал вновь на палубе своей «Керчи»...

Потом Петр Петрович принялся внимательно рассматривать фотографии из моего альбома и обратил внимание на то самое чернильное пятно на месте лица одного из матросов.

— Странно,— сказал Петр Петрович.— Вам не кажется, что лицо на фотографии испачкано намеренно?

— Я тоже так думаю,— согласился я.— Но почему это сделано, не знаю. На этот вопрос мог бы ответить только мой дедушка.

Петр Петрович еще раз перечитал письмо дедушки и снова взял в руки фотографию.

— Да,— сказал он.— Конечно, здесь какая-то загадка. Вы не могли бы на некоторое время оставить мне все это? Можете быть спокойны за сохранность. А я попытаюсь кое-что узнать. Ну хотя бы на каком миноносце служил Александр Евгеньевич Салтыков. А может быть, и что-нибудь еще.

Я согласился оставить и письмо, и фотографии, и голубую акварель.

Про то, что дома у меня хранится еще и старая лоция Средиземного моря, я просто забыл.

Мы стали прощаться.

Я дал Петру Петровичу свой ленинградский адрес, и он обещал сразу же, как только что-нибудь узнает, написать мне.

— Рад был с вами познакомиться,— сказал Петр Петрович.— Жаль, что я не имел чести знать вашего дедушку в те далекие и славные годы. Смею думать, что это был очень хороший человек.

— Я им очень горжусь,— сказал я.

— И правильно делаете. Нужно гордиться своими предками. И знать о них все и помнить.

Я совсем от этих слов расчувствовался и хотел Петру Петровичу рассказать о том, какая у меня была хорошая бабушка, но тут проклятый попугай завозился на жердочке и проскрипел:

— Бросьте его со скалы в море! Дайте ему линьков!

— Не обращайтесь на Федьку,— сказал Петр Петрович.— До меня он был в очень плохих руках и не получил приличного воспитания. А сейчас его воспитывать уже поздно. Сто лет — это все-таки возраст.

Глава седьмая. ГДЕ Я МОГ СЛЫШАТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ?

Месяца так через два получил я от Петра Петровича весточку, в которой он мне сообщал:

«Заинтересовала меня история вашего дедушки чрезвычайно. Так что пришлось даже побеспокоить кое-каких людей и кое-какие учреждения. И смею заверить, что побеспокоил не зря, как видно из прилагаемых мною документов.

Из первого вы узнаете, на каком именно корабле служил ваш многоуважаемый дедушка в 1918 году.

Из второго, то есть выписки из личного дела, следует, что в 1915 году он служил на линейном корабле «Гангут». И вам, молодой человек, стыдно не знать этого о своем дедушке. Ибо матросы «Гангута» в 1915 году подняли на корабле красный флаг. Я же стыжусь того, что на фотографии вашего дедушки, относящейся все к тому же 1915 году, не узнал главную орудийную башню «Гангута», отлич-

ную от башен других линейных кораблей того времени тем, что во всем мире тогда не было башен с тремя орудиями такого калибра... Ну, да и на старуху, как говорится, бывает проруха.

Однако предоставляю в копиях документы вашему вниманию...

ВЫПИСКА ИЗ СУДОВОЙ РОЛИ ЭКИПАЖА ЧЕРНОМОРСКОГО ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ФЛОТА МИНОНОСЦА «КАЛИАКРИЯ»

По состоянию на 1 января 1917 года:

«Салтыков Александр Евгеньевич.

По штату — помощник машинного механика по водотрубным котлам Ярроу. С денежным довольствием в 15 руб. серебром ежемесячно...»

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА МАТРОСА МАШИННОЙ КОМАНДЫ МИНОНОСЦА «КАЛИАКРИЯ» САЛТЫКОВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА:

«...Рождения 1879 года марта месяца числа восемнадцатого. Вероисповедания православного. Губернии Архангелогородской. Русский, из поморов. Поступил на миноносец в мае 1916 года после известного дела на линейном корабле «Гангут» и состоящего под надзором (негласным).

...Ни в чем предосудительном на миноносце замечен не был. При осмотрах личных вещей запрещенной к чтению литературы не обнаружено. В разговорах, подстрекающих команду к неповиновению начальству, не замечен...»

Приписка на полях:

«Тем не менее следить и доносить постоянно и секретно в жандармское управление при военном губернаторе г. Севастополь».

«Так как Ваш много уважаемый дедушка служил на миноносце «Калиакрия», — писал Петр Петрович, — то Вам не лишне было бы познакомиться с одним человеком, а именно с моим давним и хорошим знакомым Харитоном Осадчим, в прошлом водолазом. В тридцатые годы он поднимал со дна Цемесской бухты миноносец «Калиакрия». Много Осадчий знает и об эскадре и вроде бы состоит в переписке кое с кем из матросов...

Вас же я попрошу, если не трудно, заглянуть в Ленинграде в Морской архив и узнать, что у них имеется относящегося к восстанию на линкоре «Гангут».

Относительно голубой акварели ничего сказать не могу. Это просто красивый рисунок военного корабля конца XIX века.

Обо всем, что Вы оставили у меня, не беспокойтесь. Ждет Вас в полной сохранности».

«Милейший Петр Петрович! — подумал я. — Обязательнейший человек. Не забыл...»

Я еще раз перечитал его письмо и копии документов, им присланных. Так, значит, на миноносце «Калиакрия» служил мой дедушка тогда, в восемнадцатом году.

Я задумался. Про восстание бабушка мне говорила: «Дед бунтовал против царя». Теперь же я узнал, на каком корабле это было — на «Гангуте».

«В архиве я непременно побываю, — думал я. — Но хорошо бы еще раз съездить в Новороссийск, повидаться с Петром Петровичем и познакомиться с водолазом Харитонов Осадчим. Как-никак человек доставал со дна бухты дедушкин корабль».

Но где я мог слышать эту фамилию? Осадчий, Осадчий... Да, конечно же! Музей! Не слышал, а видел. Табличка под водолазным костюмом. «Принадлежит известному водолазу Х. Осадчему, который провел под водой две тысячи часов».

Глава восьмая. КРАСНЫЙ ФЛАГ НАД «ГАНГУТОМ»

На карте Балтийского моря нетрудно отыскать Финский залив. Берега его изрезаны бухтами и бухточками. В них, в удобных местах, — прибрежные поселки и портовые города. Если плыть вдоль северного берега Финского залива, приплывешь в красивый город Хельсинки. Это сейчас он называется Хельсинки, а в дореволюционные времена назывался Гельсингфорс. Здесь была военно-морская база русского флота. Флот у царя был немалый: только на Балтике — 690 кораблей. Среди всех этих броненосцев и крейсеров, эсминцев и миноносцев, учебных, казавшихся допотопными из-за своих мачт, рей и парусов, и подводных, едва показывающих из воды горбатое китообразное тело, — субмарин, как их тогда называли, — стоял и линейный корабль «Гангут».

Пожалуй, по тем временам «Гангут» был едва ли не самым мощным кораблем в мире. Представьте себе бронированную громадину длиной почти в двести метров, с громадными пушками, укрытыми в четыре бронированные

башни, каждая из которых величиной с хороший трехэтажный дом. Такие пушки, говорят, стреляют снарядами ростом с высокого человека...

И экипаж на «Гангуте» был не маленький — тысяча сто двадцать шесть человек.

Шла первая мировая война, и линкор готовился выйти в море, чтобы помериться силами с лучшими кораблями кайзеровского флота.

Однако матросы были против войны. Ведь русский царь вел ее ради интересов своих фабрикантов, капиталистов да генералов. Против войны были большевики, и на «Гангуте» уже действовала их агитация.

За два дня до восстания старший офицер, некий барон Фитингоф, обходя кубрики минеров, сунул руку в карман висевшей матросской робы и извлек смятый листок тонкой бумаги. Эта была листовка.

«Товарищи! Мы плоть от плоти и кость от кости народной.

Наше место с народом, в его рядах. Так дружно, товарищи, за дело! Долой преступную войну! Долой монархию! Да здравствует русская революция!»

Через пять минут барон Фитингоф докладывал о найденной листовке командиру «Гангута» капитану первого ранга Кедрову. Доложив, он стал настаивать на том, чтобы тотчас начать следствие.

Командир очень торопился на берег, на свадьбу собственной единственной дочери, и потому отмахнулся от барона:

— Да, голубчик, делайте что хотите! Ей-богу, мне не до вас... Уж вы простите. Меня катер ждет у трапа. А поскольку после меня на линкоре вы главный, то и действуйте по субординации.

И Фитингоф начал действовать.

По номеру на матросской робе барон узнал, чья она. Матроса арестовали. Тот сказал, что листовку подобрал на раскурку у машинистов и больше ничего не знает. Принялись за машинистов. Те молчали, словно в первый раз видели и листовку и барона. Карцер был забит арестованными матросами, но узнать, как и кто принес листовку на корабль, барон не смог.

Ночью, хотя команда устала от дневных учений, Фитингоф велел сыграть побудку, объявить аврал и начать погрузку угля, хотя никаких причин делать это ночью не было.

Погрузка продолжалась остаток ночи и весь день 19 октября.

Вечером в межпалубные помещения бачковые понесли с камбуза ужин — ячменную кашу без масла. Матросы от ужина отказались. Об этом сразу же узнал барон. Он с несколькими офицерами спустился к матросам.

— Это кто отказался от каши?— спросил он.

— Сам жри кашу...— отвечали из толпы.

— Кто это сказал?— спросил Фитингоф стоявшего рядом с ним боцмана.

— Не могу знать! Потому как лампы очень темные и лиц не видно. А каша, ваше благородие, и вправду не очень... И матросы устали...

— Так это что же, бунтовать?— крикнул Фитингоф.— «Потемкин» решили вспомнить?! Я вам вспомню!

— Кровопийца! Долой барона! Долой войну! Бей их всех! За винтовки, братва!— раздались голоса, и толпа матросов двинулась на Фитингофа.

Однако офицеров было много и у каждого — револьвер. Они не дали матросам прорваться к дверям кают-компания и вооружиться. Матросы хлынули на палубу. Сполз сине-белый андреевский флаг, и вместо него над «Гангутом» медленно поднялся красный флаг. Со стоявших поблизости эсминцев его осветили прожектором.

За неимением винтовок матросы вооружились кусками угля, но дальше этого дело не пошло. Часть моряков считала, что без поддержки других кораблей «Гангут» будет обречен: его засыпят снарядами с береговых укреплений или с верных царю броненосцев. Или подорвут миной. Некоторые были за то, чтобы любой ценой захватить корабль, а там видно будет.

В это время на корабль прибыл командир его, Кедров. Узнав, что случилось, он вызвал Фитингофа и сказал ему:

— Что же это вы, голубчик? Поговорки русской не знаете? Замахнулся — бей, а не можешь ударить — не замахивайся... Этот самый красный флаг чтобы был убран с моего корабля! Матросам же велите выдать к чаю мясных консервов. А кашу — за борт! Умно надо действовать, дорогой барон, умно. Палочкой — где надо. А где нету сладу, там и пряничком. Как только матросы поутихнут, да разойдутся по кубрикам, да разберут койки, свяжитесь с главнокомандующим флотом и попросите срочно прислать на «Гангут» спецотряды для производства арестов.

Барон щелкнул каблуками и вышел из капитанской каюты. Кедров же про себя обозвал его круглым дураком.

Так и не получив поддержки с других кораблей, матросы

«Гангута» разошлись по кубрикам. Ночью красный флаг был сорван офицерами, а утром прибывшие спецкоманды начали аресты. Сто моряков с «Гангута» были арестованы и под усиленным конвоем отправлены в Свеаборгскую крепость-тюрьму для отдачи военному суду.

Такова была история волнений на линейном корабле «Гангут», как я ее узнал по скупым и сухим строкам старых архивных дел.

И еще я узнал, что барон Фитингоф неспроста искал большевистскую листовку. Он имел на то причину: донос какого-то унтер-офицера с «Гангута».

Через два месяца состоялся военный суд, который из ста человек арестованных матросов двадцать пять приговорил к каторге. Остальных было решено направить на эсминцы и миноносцы Черноморского и Балтийского флотов. Этим решением на миноносец «Калиакрия» был направлен и мой дедушка, отбывший предварительно шесть месяцев в штрафных ротах.

Я отодвинул архивные папки и откинулся на спинку стула. Тишина стояла в зале. Лишь кое-где слегка шелестели перелистываемые страницы книг и рукописей. За столами, как и я, работали люди. Может быть, они искали разгадки других историй? Или трудились над материалами для книг? Чего только не отыщется в застекленных шкафах, на этих полках! Спрессованная в стопы, пронумерованная, прошнурованная суровыми нитками, хранится здесь история Российского флота — чертежи первых фрегатов, репортажи о победах, письма знаменитых адмиралов, отчеты о кругосветных плаваниях, послужные списки, морские уставы, первые революционные листовки, решения военных трибуналов.

Бумаги, бумаги, бумаги... Теперь они смиренно лежали одна под другой.

Да, удивительная тишина стояла в зале, а за стенами крепостной толщины едва-едва шумел город и незаметно текло время.

Глава девятая. ИЗ МОЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕПИСКИ С ПЕТРОМ ПЕТРОВИЧЕМ

Я, конечно, обо всем, что узнал в архиве, сообщил Петру Петровичу. И спросил в письме, не могу ли в свою очередь быть полезным в его исторических изысканиях.

«Благодарю,— отвечал он мне,— в настоящее время меня интересует история происхождения специальных терминов в русском военном флоте в XVIII веке. Вопрос этот настолько сложен и запутан, что навряд ли Вы сможете помочь мне внести в него хотя бы некоторую ясность.

Со своей стороны, я хочу обратить внимание Ваше на труды известного ученого, академика Алексея Николаевича Крылова, ныне уже покойного. В свое время, если мне не изменяет память, я встречал у него отрывочные, правда, сведения о судьбе тех кораблей Черноморского флота, которые не были затоплены в Цемесской бухте и которые Врангель увел (или на которых бежал, что будет точнее) за границу.

Почему я подумал об этом? Помнится, Вы говорили со слов Вашей бабушки, что друзья детства Вашего дедушки — Лепешкин и Каргин — не вернулись с гражданской войны, то есть погибли... А что, если не погибли? Они могли остаться на тех кораблях, которые ушли в Севастополь. Значит, далее судьбы и кораблей и людей можно проследить только в эмиграции. Так-то... У меня, к сожалению, трудов Крылова нет, а к Вашим услугам — лучшие библиотеки Ленинграда.

Мы в Федькой скрипим помаленьку. Наше дело стариковское...

С неперемнным уважением...»

«Дорогой Петр Петрович!

Задали Вы мне работу! Пересмотрел все труды упомянутого Вами академика Крылова, в том числе и по теории непотопляемости корабля. С большим трудом отыскал-таки в одной статье некоторые сведения о кораблях эскадры. Кое-что я выписал, с сокращениями мест, прямо к кораблям не относящихся.

Вероятно, эту самую статью Вы, Петр Петрович, и имели в виду. В ней академик Крылов пишет о своем участии в комиссии, которая должна была осмотреть некогда угнанные Врангелем корабли, стоявшие несколько лет на приколе, и определить, можно ли их отбуксировать в Черное море, вернув, таким образом, Советской России... Итак, вот что я выписал: «В конце ноября 1924 года я получил предписание с уведомлением... включиться в прибывающую из Москвы комиссию. В Бизерту мы пришли около полудня; нас встретил чиновник местного портового управления и свез в гостиницу.

Бизерта — небольшой приморский городок с бухточкой, в которой стоят рыбацьи суда, расположен как по берегу моря, так и естественного глубокого (около 12 м) и широкого (около 150—200 м) водопотока, соединяющего почти круглое, диаметром около 35 км, озеро с морем. На этом озере, в 30 километрах от берега моря, устроена военная гавань, мастерские, жилые дома, портовое управление и пр. близ селения Сидиабдала.

Вскоре был подан паровой катер, и мы отправились для осмотра судов.

Ближайшим был «Корнилов», бывший «Очаков», старый крейсер; его осмотр продолжался недолго, ибо наша комиссия решила, что вести его в Черное море нет надобности, а надо продать на слом.

Следующий корабль был линкор «Генерал Алексеев», первоначально «Император Александр III».

...Оставались еще яхта «Алмаз», старый броненосец «Георгий Победоносец», обращенный в блокшиф, старый минный крейсер «Сакен» — все эти суда по решению нашей комиссии были предназначены в продажу на слом.

Кроме вышеперечисленных судов, оставалось еще шесть эсминцев и четыре подводные лодки типа «Голланд».

...Наши суда и до сих пор (14 октября 1941 года) ржавеют в Бизерте, если только эсминцы не проржавели насквозь и не затонули, как было с «Сакеном» при осмотре его в 1924 году».

...Замечу, уважаемый Петр Петрович, что академик Крылов ни словом не упоминает о дредноуте «Воля». Куда же он мог деться? Мне это показалось странным...»

«Не сердитесь, голубчик, что задал я Вам работу,— писал Петр Петрович.— Поверьте, никакое усилие даром не пропадает, в том числе и Ваше ознакомление с трудами Крылова.

Что касается «Воли», то ларчик открывается просто: после 1917 года «Волей» был назван бывший «Александр Третий», упоминаемый Крыловым. Врангель дал «Воле» новое название, в честь погибшего белого генерала Алексева.

К сожалению, сведения о кораблях в Бизерте слишком скудны. И не там, вероятно, следует искать ключик к отгадке.

Где? Думается, в Архангельске. При любых вариантах — остались Каргин и Лепешкин живы, погибли ли, воевали они на стороне белых или красных, — у них должны остаться какие-нибудь родственники в Архангельске. А у родственников — что-нибудь подобное тому что сохранила Ваша бабушка...

А если и попадетсЯ Вам на глаза что-либо о Бизерте — приобщите, конечно, к делу. Бизерта — это Средиземное море...»

Вот когда я вспомнил про дедушкину лоцию! Лоция-то ведь была именно Средиземного моря! И я никогда в нее за ненадобностью не заглядывал.

Глава десятая. БИЗЕРТА

Это была довольно старая лоция. Если быть точным, то называлась она так:

ЛОЦИЯ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ

часть IV

СЕВЕРНЫЙ БЕРЕГ АФРИКИ ОТ МЫСА РАС-АШИД ДО ГИБРАЛТАРСКОГО ПРОЛИВА. МАЛЬТИЙСКИЕ И ПЕЛАГСКИЕ ОСТРОВА И ОСТРОВ ПАНТЕЛЛЕРИЯ.

Листы лоции были основательно потрепаны, и на полях кое-где имелись пометки...

К примеру, рядом с описанием гавани Габес было начарапано: «Причал для шлюпок плохой, таможенники — канальи». А к описанию мыса Фарина было добавлено: «И никому не советую огибать его с южным ветром, разве в целях самоубийства».

По-видимому, в свое время лоцией пользовались, и много раз. Сведения о Бизерте, найденные мною на странице 257, были подчеркнуты, в отличие от пометок на полях, красным карандашом. Говорилось же в лоции об этом неизвестном мне городе следующее:

«Порт Бизерта оборудован в юго-западной части бухты Бизерта, вдающейся в северный берег Туниса между мысом Рас-Зебиб и мысом Бизерта...

При подходе к порту Бизерта хорошими ориентирами являются: мыс Рас-Зебиб, остров Кани и форт Сиди-Салем...

В порту Бизерта сооружено много набережных и причалов».

Приписано от руки: «Часть причалов северного берега заняты разоруженными военными русскими кораблями, стоящими на приколе. В настоящее время корабли сильно обветшали и имеют некоторую опасность для близко проходящих от них судов... Швартовка к вышеупомянутым кораблям запрещена».

«...Город Бизерта расположен на северо-западном берегу канала Бизерта и легко опознается по церкви, стоящей в центре города. Хорошо приметны казармы Буживиль в юго-западной части города, дом для престарелых, стоящий на холме Кудия, в 1,3 мили к вест-норд-весту от окочности северного мола...»

Слова «дом для престарелых на холме Кудия» были почему-то подчеркнуты дважды.

Других сведений о Бизерте я не нашел.

Машинально листая лоцию дальше и просмотрев ее почти всю, я наткнулся на конверт, плотно сидевший между последними страницами. Конверт был из коричневой бумаги, с красивыми заграничными марками, печатями и наклейками. Адрес был написан не по-русски. Но наискосок через конверт уже на нашем языке вилась мелкая надпись: «За неимением адресата расписалась...»

Далее следовала фамилия расписавшейся— не то Загоскина, не то Загоркина, а может быть, и Заторкина...

Я уже хотел было вложить этот иностранный конверт обратно между страницами лоции, но потом из любопытства решил все-таки заглянуть в него.

Письмо, которое я извлек из конверта, писал русский! Орфография была старая, почерк крупный, но неуверенный. Так пишут или дети или старики, поздно овладевшие грамотой. Вот что было в этом письме:

«С горькой чужбины пишет неизвестный Вашему семейству человек.

Печальную весть должен я сообщить Вам.

Сын Ваш, Константин Саввич Каргин, унтер-офицер Российского Императорского флота, умер и похоронен на кладбище города Бизерты в мае сего, 1936 года...

Деньги, у него имевшиеся, полицией были конфискованы и пропали. Из вещей же, бывших при нем, а именно: трубы медной, именуемой бас-геликон, кольца золотого с перстнем и медали памятной к трехсотлетию царствующего дома Романовых, коей он был награжден в 1913 году,— проданы в счет похорон и покупки места для могилы.

Найденную в его матросском сундучке фотографию при письме высылаем.

Писал матрос с эскадренного миноносца «Поспешный» Николай Евстафьев, имеющий проживание в доме для престарелых, что на холме Кудия в городе Бизерте же».

Фотография была завернута в порядком пожелтевшую иностранную газету. Когда я газету развернул, то едва не вскрикнул от неожиданности. Я увидел точно такую же фотографию, что была и в альбоме моей бабушки! Три матроса стояли возле бронированной башни корабля под тремя грозными орудиями. Только лицо крайнего матроса не было замазано черными чернилами...

Я перевернул фотографию и на оборотной стороне прочитал:

*«Гельсингфорс. 1915 год. Лепешкин И., Салтыков А.,
Каргин К. На память о «Гангуте».*

Значит, крайний справа был унтер-офицер Каргин. Это его лицо было скрыто под чернильным пятном на дедушкиной фотографии.

Глава одиннадцатая. КАРГИНЫ

Наверное, на свете нет ничего интереснее человеческих судеб. Какие бы они ни были, эти судьбы, счастливые или несчастные.

Так я думал, разыскивая следы семейства Каргиных.

Каргины жили в Архангельске едва ли не со времен Ивана Грозного. Купцами были, известными по Двине и Мезени. Посылали корабли с воском, лесом или шкурами — к шведам и норвежцам. Обратное с выгодой везли заморские товары. Бывало, что сильно богатели, но бывало, что и едва не разорялись. Так — дело было в прошлом веке — ввязались Каргины в китобойный промысел. Снарядили пароходы, и казалось им это прибыльным. И верно: в первый год набили полтора кита и считали барыши. Второй год еле свели концы с концами. Но семейство было крепкое — деньгами в кубышках и родственными связями. И снова ожили Каргины на знакомой, без риска, торговле северной жирной рыбой.

И как бы там ни было, Савва Каргин, отец унтер-офицера Константина Каргина, был человеком денежным.

В 1912 году вместе с купцом Демидовым подбивался

он даже поставлять треску и солонину на шхуну Георгия Седова «Святой великомученик Фока». Но в чем-то не сговорился с Седовым или тому не понравился — и подряда не получил.

Водил старик Каргин дружбу и с губернаторами, и с полицмейстером, а за правителя канцелярии губернатора выдал дочь Елизавету, породнившись, можно сказать, таким образом с властью.

В 1907 году Каргин проводил на службу в царский флот сына Константина и наказал ему служить царю верой и правдой. В 1911 году Константин Каргин дослужился до унтер-офицера. В 1913 году отличен был медалью (той самой, что пошла в уплату за похороны). С 1914 года Каргин служил на линейном корабле Балтийского флота «Гангут». Большого об унтер-офицере Каргине узнать не удалось, если не считать того дня в мае 1918 года, когда возник он на кормовой палубе дредноута «Воля» играющим на трубе бас-геликон... Именно о нем — теперь-то это можно сказать с уверенностью — сообщал в письме мой дедушка.

О старике Савве Каргине дальнейшие собранные мною сведения были очень отрывочны.

Октябрьскую революцию он принял с великой злобой и заперся в своем двухэтажном доме, где и проживал далее в суровом одиночестве, потому что дочь его Елизавета с правителем канцелярии губернатора уплыла пароходом в Англию, подальше от голода, тифа и надвигающейся разрухи.

В 1918 году революционной властью ему было предложено сдать все имеющиеся ценности.

«Забирайте, если найдете», — сказал он.

В доме ничего ценного — то есть ни денег, ни золота — найдено не было.

При белых, как ни странно, и при интервентах Каргин сидел смирно. Когда интервентов прогнали, дом Каргина был поделен и в комнаты первого этажа поселили семьи рабочих с Бакарицы, очень нуждавшихся в жилье. Каргин перебрался в две комнаты второго этажа, где и жил все так же тихо и незаметно.

В 1935 году Каргин внезапно умер от сердечного приступа. Таким образом, письмо, извещающее его о смерти сына Константина, он получить не мог. Потому-то за письмо и расписалась проживающая в одной из комнат каргинского дома не то гражданка Загоскина, не то Загоркина...

Да, еще две небольшие подробности... В 1957 году,

когда в доме Каргина по Пермской улице печное отопление заменяли паровым, рабочие разломали с большим трудом русскую печь.

Русские печи в домах на Севере делали большими, чтобы печь давала тепло на весь дом. Не печи, а целые крепости. С выступами, карнизами, подпечками, нишами, боковыми лавочками, лежанками. В такой печи можно упрятать что угодно. Упрятал, как оказалось, кое-что и купец Каргин. Рабочие нашли замурованным в самой середине печи тюк весом около двух пудов. В тюке по-хозяйски, прочно и надолго, было упаковано и хранилось двести тысяч старыми царскими бумажными деньгами, на полмиллиона акций франко-русского общества строительства железных дорог в России и ценные бумаги нефтяных компаний в Баку.

Теперь это был никому не нужный хлам... Но кроме бумаг, в тюке было пятьсот золотых николаевских червонцев, золотые часы, кольца, цепи, две старинные табакерки с драгоценными камнями на крышках и шесть серебряных кубков работы средневековых английских мастеров...

Золото, сами понимаете, пошло на народные нужды, а табакерки и кубки отдали в музей. Чтобы на них могли любоваться все честные, трудящиеся люди.

Как вы догадываетесь, замуровал все это в печь старик Каргин, да так, что даже опытные чекисты найти не смогли.

Я бродил по Архангельску, отыскивая улицы, дома, людей и вспоминая Архангельск своего детства.

Все изменилось. Или почти все. На месте деревянного дедушкина дома и тополей вокруг него стоял дом пятиэтажный, крупноблочный, с магазином «Молоко» в первом этаже.

От дома Лепешкиных вообще и следа не осталось, он сгорел в годы войны от попавшей в него зажигательной бомбы. На том месте теперь была «Сосисочная».

Из шести Лепешкиных, адреса которых я узнал через «Горсправку», ни один не имел отношения к бывшему матросу с «Гангута» Ивану Лепешкину...

А вот дом Каргиных, солидный каменный дом из красного кирпича, был цел (если не считать злополучной печи), и, потратив три вечера на знакомство с его жильцами, я наконец нашел одного, который признал принадлежность росписи на конверте. На том конверте, что я нашел в лоции Средиземного моря.

Старичок-пенсионер, жаждавший деятельности, сдвинул

к самому кончику носа очки и прочитал: «Загорская».

— Эта дама,— сказал он, передвинув очки снова к переносице,— проживала здесь. Ничего плохого о ней не скажу. Вдова была. Не скандалила. Коридор убирала в свою очередь. Но три года назад, получив двухкомнатную квартиру в новом доме, переехала вместе с дочерью. Сейчас, сейчас...— И старичок, вороша листки записной книжки, буквы алфавита за ветхостью которой мог различать, наверное, только он один, отыскал ее новый адрес.

— Как ее зовут?— спросил я.— Имя, отчество...

— Наталья Леонидовна. Загорская по фамилии... Если навестите, передайте привет от меня, Семена Ивановича Ласточкина то есть.

Глава двенадцатая. РАСПИСКА

Женщина приоткрыла дверь и разглядывала меня минуты две очень внимательно. И только когда я передал привет от Ласточкина, откинула цепочку и впустила меня. Женщина была немолодая, высокая, с большими и грустными глазами.

Склонив набок голову, она почему-то все еще настороженно смотрела на меня, но потом, спохватившись, пригласила пройти в комнату. Двигалась она бесшумно. Поспешно переставила стул, прибрала с него что-то пестрое, извинилась, предложила сесть.

— Так вы от Семена Ивановича?— сказала она.— Как он там? Вы его родственник? Что-то я вас раньше не видела...

Я сказал, что я не родственник и ищу Наталью Леонидовну по одному очень интересующему меня делу.

— Мама умерла этой осенью...— сказала женщина.

— Ах так...— сказал я.— Тогда простите...

— Нет, ничего...— Женщина нашла папиросы, дрожащими пальцами достала одну из пачки, спичкой затолкала в мундштук вместо фильтра клочок ваты и закурила.

— Меня зовут Мария... Мария Михайловна. Я ее дочь. А что за дело было у вас к маме?

Увидев конверт с подписью, она сказала:

— Да, это мамин почерк. Про письмо мне известно. Мама все боялась, что из-за него она непременно попадет в какую-нибудь историю. Все думала, что что-нибудь случится. Или даже кого-нибудь убьют...

— Странно,— сказал я.— Почему она так думала? Нико-

го не убили. Да и история старая. А у вашей мамы я только хотел узнать какие-нибудь подробности.

Женщина, слушая меня, печально покачивала головой, словно со всем соглашаясь. Я замолчал. Мария Михайловна спросила:

— И что же вы хотели узнать-то? Может быть, я вам помогу. У мамы от меня секретов не было... И про письмо она рассказывала. Его принес почтальон после смерти Саввы Каргина. Мама расписалась за него. Думала, придет кто-нибудь из родственников.

— И кто же пришел?— спросил я.

— Приходил один человек. Было это перед войной. Мама говорила, что не следовало отдавать письмо. Может быть, там что-нибудь важное, письмо из-за границы. Но человек, который разыскивал Каргиных, показался ей приличным. Пожилой, вежливый. Он произвел на маму очень хорошее впечатление. Но отдавать письмо мама все равно не хотела. Человек очень просил. Он сказал, что письмо необходимо ему прямо-таки в исторических целях. Мама и отдала. Но очень не хотела отдавать. Человек в конце концов предложил дать за письмо личную расписку, и мама отдала.

— А расписка цела?— спросил я.

— Да, да! Мама все сохраняла аккуратно. Даже старые счета за свет и квартиру. Мало ли что... Все так и лежит в комодке, как было при маме.

Мария Михайловна, дымя папиросой, прошла к старинному комоду, какой не часто встретишь уже в новых квартирах, и, выдвинув верхний ящик, извлекла кипу бумаг, в которой довольно быстро отыскала и нужную.

— Вот,— сказала она.— Та самая расписка. Смотрите.

«У тов. Загорской Н. Л. письмо из Бизерты в целях исторических, а также для установления истины взято мною. В чем и расписываюсь — бывший матрос с линкора «Гангут» Александр Салтыков».

— Вот так так...— сказал я.— Александр Салтыков — это мой дедушка...

— Ваш дедушка?...— удивилась Мария Михайловна.— Но зачем ему нужно было письмо? Мне непонятно.

И я рассказал Загорской-дочери все по порядку — про дедушку, про фотографию с чернильным пятном, про эскадру и все, что смог узнать про Каргиных...

Мария Михайловна курила папиросу за папиросой и слушала.

— А знаете,— произнесла она, когда я кончил свой рассказ,— когда вы пришли, я подумала совсем про другое. Как вы заметили, я не сразу вам открыла дверь. Это у меня от мамы. Ее всегда беспокоило, когда в дверь звонил кто-нибудь незнакомый. Я бы сказала, что она даже чего-то боялась... Когда вы показали мне письмо, я подумала, что вас интересует совсем другое: отчего умер старик Каргин...

— Разве было что-то такое, отчего он умер?

— Конечно. Была одна история, знаете ли...

И Мария Михайловна принялась набивать вату в новую папиросу.

— Я смотрю, вы не курите,— сказала она.— А я никак не могу бросить... Так вот, я начала про Каргина и сказала, что тут была одна история. Дело в том, что мама знала, что со смертью старика Каргина было нечисто. Я вам расскажу опять-таки с маминых слов. Я тогда была маленькой. Жили мы без отца, мама овдовела рано. Жили в комнате рядом с комнатой Каргина. В сущности, комнаты были раньше смежные, дверь забили и заклеили обоями— вот и все. И знаете, если за стеной громко говорили или там шум какой— у нас волей-неволей было слышно. Каргин часто напивался в одиночестве и начинал громко разговаривать сам с собой. Иногда ругался. Тогда мама, если это случалось днем, одевала меня и выпроваживала во двор гулять.

И вот однажды, именно днем— мама работала ночной санитаркой в больнице, а днем-то обычно бывала дома,— к Каргину пришел какой-то подозрительный тип. Мама увидела его в коридоре. Он искал, где проживает Каргин. Мама показала и ушла к себе. По ее словам, с виду это был настоящий уголовник. Мама, повторяю, ушла в свою комнату, но из их разговора кое-что слышала. Она не все поняла, хотя прислушивалась именно потому, что этот тип показался ей очень уж подозрительным. А услышала она, что Каргину предлагалось что-то купить. А Каргин купить не хотел.

— А что это было?— спросил я.

Мария Михайловна умолкла, и только в тишине комнаты потрескивали в тлеющей папиросе волокна табака— так сильно она затягивалась дымом...

— Бумаги,— сказала она наконец.— Да, бумаги. Каргин на него накричал и даже грозился заявить в милицию. Потом они заговорили так тихо, что мама ничего не могла слышать. Во всяком случае, в тот раз Каргин ничего не купил.

Через два дня тип пришел снова. И снова они спорили, и мама поняла, что Каргин предлагал за бумаги советские деньги, а тот требовал золото. А на следующий день Каргин куда-то уехал и пропал почти неделю. Куда он ездил, неизвестно, но, как только вернулся, сразу же пришел и тот. Видно, у них было договорено о встрече. Но мама не слыхала ни слова — разговор велся едва ли не шепотом.

— А Каргин купил бумаги?

— М-м... Вероятно... — Мария Михайловна как-то неуверенно пожала плечами. — Он приходил и еще раз. В день смерти Каргина. И снова мама была дома. Почему-то маме стало страшно. Оба пили, и тот требовал денег. Каргин его грязно обругал, в комнате что-то разбилось. Мама подумала, не позвать ли на помощь. Но кого? Все на работе. Только она. Да я гуляла на улице... Но ничего не случилось. Тот человек ушел. Все успокоилось. Каргин еще долго бродил по комнате и что-то бормотал. Дал ли еще Каргин денег или нет, мама не знала. А ночью старик Каргин умер. Врачи нашли, что он скончался от сердечного приступа. Возможно, так оно и было. Во всяком случае, мама никому ничего не сказала. Позднее она рассказала все это только мне, когда я выросла. Вот и все.

— А тот тип? — спросил я.

— Он больше не приходил. И мама его никогда и нигде потом не встречала.

— А бумаги? — снова осторожно спросил я.

— Знаете, то, что вы слышали, — это все, чем я могу вам помочь, — вздохнула Мария Михайловна и принялась набивать ватой мундштук очередной папиросы. — Вы приезжий? — в свою очередь задала она мне вопрос.

— Да. Я из Ленинграда.

— Никогда, к сожалению, не бывала в Ленинграде. А где вы остановились?

— В гостинице «Двина», — ответил я. — Жаль, что вы ничего не знаете про те бумаги.

— Да, жаль... Может быть, выпьете чаю? — спросила Мария Михайловна.

— Нет. Спасибо. Мне пора. Завтра я бы хотел уехать, а билета на поезд у меня еще нет.

— Билетная касса от нас недалеко. Пройдете по Энгельса, последний дом по проспекту справа. Внизу — билетные кассы. Увидите...

Мы распрощались.

Я действительно должен был уехать из Архангельска на следующий день. Поезд уходил вечером. Утром, когда я отдавал дежурной ключ от номера, она спросила:

— Вы такой-то? Вы из Ленинграда? Только что звонили снизу от администратора: вас разыскивает какая-то женщина.

Я не очень удивился, увидев Марию Михайловну. Она выглядела смущенной, но быстро взяла себя в руки и сказала:

— Простите, но я должна была вас разыскать. Когда вы ушли, я подумала и пожалела, что сказала вам не все. Те бумаги — у меня... Да, да! И я вам их отдам. Пойдемте на улицу, поговорим.

Мы спустились к Двине. Мы шли молча, и я ни о чем не спрашивал. На набережной, найдя свободную скамью, мы сели, и Мария Михайловна продолжала:

— Я отдам их вам. Возможно, они вам пригодятся. Почему не отдала их сразу? Знаете, я заколебалась. Видите ли, к маме они попали таким образом, что мне казалось, это бросит тень на ее память. Но я понимаю: вам эти бумаги очень нужны.— Она вздохнула.— И мама, будь она жива, сделала бы то же самое. Я вам объясню. Когда старик Каргин умер, комната его, естественно, освободилась. В нее должен был вселиться тот самый Ласточкин Семен Иванович. Так вот, пока комната стояла пустая, мама решила осмотреть ее. Не могу сказать, что ею руководило тогда. Показалась ли странной смерть Каргина или простое любопытство. Скорее, и то и другое. Комнату осмотреть было не трудно: она была почти пуста. Вещи за неимением прямых наследников были свезены управхозом на склад до объявления хотя бы дальних родственников. И вот, по словам мамы, она нашла свернутые в трубку бумаги и... Я рассказываю вам все, и вы, думаю, не осудите маму... Там были еще золотые пятирублевки. Немного, несколько монет, завернутых в тряпку. Мама их взяла. Она мне потом говорила, что простить себе этого не могла. Но тогда взяла. В те годы я часто болела, что-то было с легкими. Мне требовалось хорошее питание — масло, мясо, мед. И мама снесла золото в «Торгсин». Был в те годы в Архангельске такой магазин, куда сдавали ценные вещи. Ну, бог с ним, со всем этим... Сознание того, что она сделала, мучило маму, и она ждала: если объявится кто-нибудь из Карги-

ных, она вернет стоимость сданных в «Торгсин» монет. Ведь все равно они бы так и лежали там спрятанными, как лежало все то, что Каргин спрятал в печи. Бумаги же мама сохранила.

И Мария Михайловна, быстро-быстро порывшись в сумочке, нашла и протянула мне небольшой пакетик, перетянутый аптекарской резинкой.

— Вот,— сказала она.— И не благодарите меня. Чем могла, я вам помогла, и то хорошо... Прощайте...

Она ушла, и я остался один, держа в руках маленький пакетик.

Я не спешил заглянуть в него. А вдруг я не найду там ничего для меня интересного? Я спрятал пакетик в карман и вернулся в гостиницу.

— Вас разыскали? — спросила дежурная, возвращая мне ключ.

— Да,— отвечал я.— Спасибо. Все в порядке.

И только в номере я дал волю своему любопытству и прочитал то, что получил от Марии Михайловны и за что старик Каргин расплатился золотом...

РАПОРТ НАЧАЛЬНИКУ СВЕАБОРГСКОЙ ТЮРЬМЫ

«...Сим доношу, что, будучи посажен к матросам в камеру № 19, смог войти к ним в доверие так, что меня не опасались. Хотя сперва и не очень доверяли, но, видя, что я как бы избит и как бы с допросов, то говорили при мне потом в полный голос...

Из ихних разговоров все больше были о родственниках и что скоро будет матросам суд и могут их казнить. Когда же шестнадцатого ноября матрос Лепешкин вернулся с прогулки, то и принес переданную ему неизвестно кем во дворе тюрьмы записку, с которой он, Лепешкин, подсел к матросу Салтыкову. Записку ту мне не показали, но остальные, собравшись скопом, читали и говорили: «Ах скотина какая! Ах иуда! Удавить бы его сейчас же!» И всякое прочее. Потом ночью того же шестнадцатого они дали святую матросскую клятву, что ежели случится, что кто из них останется живой и не будет по приговору расстрелян, то чтобы отомстить непременно тому человеку. Записку же ночью мелко изорвали и спустили в парашу.

Более ничего узнать не мог и буду следить далее.

Известный вашему благородию агент «Глухарь».

Резолюция на рапорте:

«Дуракам надзирателям вменить, чтобы на прогулке лучше глядели за арестантами, чтобы последние сношений

через записки или иначе как не имели. Рапорт переслать в жандармское управление при Главнокомандующем Его Императорского Величества Балтийским флотом, чтобы там разобрались, какой из агентов работал среди матросов на «Гангуте», и приняли меры к его безопасности. За начальника Свеаборгской тюрьмы». (Подпись неразборчива.)

Глава четырнадцатая. НЕЧТО ВРОДЕ ПАСЬЯНСА

В середине лета травы под Новороссийском высушивают теплые ветры, и предгорья, такие зеленые весной, в июле делаются желтыми, как карта пустыни Сахары.

Сохнут в палисадниках мальвы. Жухнут листья-стрелы красавцев тюльпанов. Буреет и сворачивается листва грецкого ореха. Жара и сушь. Зеленеют только волны Цемесской бухты. Лениво плещутся они тогда на горячие камни побережья, нисколько не охлаждая их.

Бурь не бывает в июле, и тысячи больших и маленьких медуз заплывают в бухту, двигаясь плавными толчками в разных направлениях, неизвестно, впрочем, куда и зачем...

Дороги становятся пыльными. В горах звенят бубенчики коз и коров, которые выискивают среди колючек хоть что-нибудь, что можно было бы еще сжевать.

Неумолкаемый шум и цвирканье миллионов кузнечиков, сверчков и цикад висит днем и ночью над берегами бухты. Они стараются так, как будто считают, что знойный этот мир только им и принадлежит.

В июле я навестил Петра Петровича.

Виноград в его садике уж начинал созревать, и повсюду из темных листьев выглядывали кислые, еще светлые, гроздьи мелких ягод.

Все было неизменным в кабинете Петра Петровича.

Попугай Федька приветствовал меня словами: «Всех наверх! Картечью по неприятелю! Огонь!» Неприятель этот был я.

Петр Петрович, однако, был другого мнения и крепко, как старому знакомому, пожал мне руку.

— Ну, ну...— сказал он,— изрядно вы продвинулись во всей этой истории, надо сказать... Теперь есть над чем и поразмышлять. А?

И я согласился, что есть над чем поразмышлять. Мы подсади к письменному столу.

Чтобы Федька нам не мешал, Петр Петрович накрыл клетку большим темным платком, и попугай, решив, что настала ночь, замолчал и затих.

— Итак,— сказал Петр Петрович,— давайте-ка посмотрим, что у нас на сегодняшний день имеется.

Он сдвинул стопку книг в одну сторону, пачку исписанных листов бумаги в другую, потеснил чернильный прибор и осторожно переставил настольную лампу, очистив таким образом большую часть своего письменного стола.

Первым перед нами легло письмо моего дедушки. Петр Петрович сказал:

— Будем считать его как бы вещественным доказательством номер один... О чем оно говорит? Оно говорит прежде всего о том, что на дредноуте «Воля», когда тот вошел в Цемесскую бухту, ваш дедушка заметил человека, который был известен вашему дедушке и прежде. Далее: ваш дедушка по каким-то неизвестным еще нам причинам не хотел, чтобы этот человек его увидел и узнал. Об этом он думал сообщить в следующих письмах, но не сообщил — иначе бы ваша бабушка помнила такое письмо — или если и сообщал в письме, то в те трудные времена письмо могло и затеряться. Так? Так. Но что мы можем теперь добавить к этому?

— Что фамилия этого человека, вероятно, Каргин!— сказал я.

— Пожалуй!— согласился Петр Петрович.— Если вспомнить бас-геликон.

Далее: вещественное доказательство номер два — фотография, на которой лицо матроса скрыто черным чернильным пятном. Поскольку теперь мы имеем точно такую же фотографию, но без всякого пятна и с обозначением, кто на снимке, то мы можем сказать точно: человеком, чье лицо скрывает пятно, был унтер-офицер Каргин.

Вопрос: почему ваш дедушка вымарал на фотографии его лицо? Каргин ведь был его другом юности. Может быть, он чем-то досадил вашему дедушке? Обидел его? Обманул? Совершил что-нибудь плохое? Пожалуй, что так. Одно из предположений самое естественное: Салтыков, узнав, что его бывший друг ушел на дредноуте «Воля» к врагам революции, к белым, тогда-то и решает вымарать его на фотографии. И забыть. Возможно, так оно и было. Затем Каргин вместе с дредноутом попадает в заграничный город

Бизерту, где и кончает бесславно свои дни в эмиграции. Но судя по тому, что и позднее ваш дедушка проявлял интерес к тому, что с Каргиным, причины могут быть и иные. Какие? Мы с вами утверждать пока не можем. Точны только факты. Значит, этот вопрос остается все-таки открытым.

Вещественные доказательства номер три и номер четыре,— продолжал он,— письмо и фотография из Бизерты. Письмо доказывает факт смерти унтер-офицера Каргина, а фотография помогает нам установить, кто же именно на снимке.

— Четыре! — сказал я.— Четыре доказательства, которые пока доказывают очень немного.

— Пять! — сказал Петр Петрович.— Рапорт полицейского агента по кличке «Глухарь»... А точнее, сообщение о записке, которую передали во время прогулки в тюремном дворе Свеаборгской крепости матросу Лепешкину. На мой взгляд, чрезвычайно важный документ.

— Но в записке, то есть в рапорте, не сказано—кто.

— Верно. Однако подумаем: человек, запродавший сей документ старому Каргину, был, безусловно, опытный шантажист... Оставим вопрос происхождения этих бумаг. Предполагаю, что во время разгрома в феврале 1917 года жандармского управления в Петрограде многое оказалось просто на мостовой, а кое-какие бумаги попали в частные руки и путем долгим и сложным пришли в Архангельск... Вернемся к факту купли-продажи. Человек этот не рассчитывал продать сразу все, что у него имелось. Очевидно, было у него еще кое-что. А именно: фамилия того, о чьей безопасности пекся начальник Свеаборгской тюрьмы. И Каргин, не умри он так внезапно, наверное, купил бы и остальное. А сейчас можем ли мы сказать точно—кто? Нет, не можем. Записка—будем называть этот документ так— лишнее звено в цепи, где, к сожалению, не хватает соседних звеньев. Мы обозначим ее номером пять. Не возражаете?

С этими словами Петр Петрович нарезал из плотной бумаги карточки и написал на них:

- Письмо А. Салтыкова— № 1.
- Фотография с пятном— № 2.
- Фотография без пятна— № 3.
- Письмо из Бизерты— № 4.
- Записка— № 5.

Остальные карточки остались пустыми, и Петр Петрович поставил на них только вопросительные знаки.

Затем он начал раскладывать нечто похожее на пасьянс. Пронумерованные карточки он разложил в таком порядке: № 3, № 5, № 2, № 1, № 4.

Между карточками № 3 и № 5 он положил карточки с вопросительными знаками, как, впрочем, и между № 2 и № 1.

— Вы думаете,— спросил я Петра Петровича,— между № 5 и № 2 есть связь?

— Только один из предполагаемых вариантов,— отвечал Петр Петрович.— Одна из догадок. Точными, как я уже сказал, бывают только факты. Кстати,— спросил он поспешно, видя, как я комкаю ту самую иностранную газету, в которую было прежде завернуто наше доказательство № 3,— что это вы делаете?!

— А зачем она нам?— отвечал я.— Это же просто старая газета.

— В данном случае,— сказал Петр Петрович, разглаживая газету,— просто старой газеты быть не может. Позвольте, позвольте. Газета на французском языке. К сожалению, я читаю только по-английски. Но газету мы приобщим к делу.— И Петр Петрович заполнил еще одну карточку: «Газета— № 6».— И поищем,— добавил он,— кого-нибудь, кто хорошо владеет французским языком.

Затем он смешал все карточки, выбрал две с вопросительными знаками и приписал на них несколько слов. Получилось вот что:

?
Иван Лепешкин

и

?
Моряки из Бизерты

И пояснил:

— Если кто и может нам что-нибудь еще сказать по этому делу, то это матрос Иван Лепешкин, если он жив. И кто-нибудь из оставшихся в живых моряков эскадры. Из тех, что сначала попали на чужбину, а потом все-таки вернулись на родину. Есть и такие. И вот тут-то нам с вами поможет мой старинный друг водолаз Харитон Осадчий, которого я и ожидаю к обеду.

Оказалось, что Харитон Осадчий приехал в Новороссийск из Одессы еще вчера, а сегодня с раннего утра пошел вместе с внуком Мишей по городу — показать ему места боевой славы.

Сказав мне все это, Петр Петрович удалился на кухню — жарить особенным кавказским образом мясо, а меня попросил открыть Федыкину клетку и располагаться как дома в кресле-качалке.

Глава пятнадцатая. ХАРИТОН И МИША

Ожидая водолаза, я раскачивался в кресле и думал: «Вот сейчас я увижу и познакомлюсь с человеком, который много раз бывал под водой. Может быть, доставал с затонувших кораблей сокровища? Или встречался с чудовищами глубин?»

Приходилось мне когда-то читать про водолазов, которые в Балаклавской бухте хотели поднять сундуки с золотом с английского корабля «Черный Принц». Они опускались на такую глубину, что когда выбирались снова на поверхность, кровь шла у них из ушей и многие даже умирали. Но золота так и не нашли.

А еще более ужасную историю встречал я в каком-то старинном журнале. История была про то, как решили снять один кинофильм — о затонувшем корабле. На дне моря установили киноаппарат в водонепроницаемом ящике, устроили декорации, как будто это затонувший галеон, полный серебра. Все к съемке приготовили и спустили водолаза. Киноаппарат начал снимать, он сам снимал, без кинооператора. Наверху смотрят — большие пузыри воздуха поднимаются из-под воды. Что случилось? Потянули сигнальную веревку, а она не подается, словно зацепилась за что-то. Вдруг и шланг воздушный и веревка так дернулись, точно кто водолаза поволок. Начали шланг и веревку отпускать, чтобы не порвались. А шланг все сильнее тянется. Уж больше и тянуть некуда. Конец шланга. Еще минута — и оборвались и шланги и веревка. А это значит — гибель водолазу... Спустили под воду второго. Он ничего внизу не нашел. Только песок на дне разворочен. И киноаппарат лежит на боку. Поднялся этот, второй водолаз на поверхность и киноаппарат с собой прихватил. Киноаппарат-то ведь все, что там было, снимал, наверное?

Проявили пленку поскорее и стали смотреть, что заснято.

Видят: стоит галеон, к нему спускается водолаз. Спустился, рукой зрителям помахал и начал, как в сценарии было задумано, работать, серебро из галеона выгружать. Вдруг сзади водолаза словно тень промелькнула. Люди, которые пленку смотрели, ахнули и замерли: за спиной водолаза плыл громадный осьминог. А водолаз стоит и, конечно, ничего не замечает. Осьминог водолаза как схватит! И потащил в сторону. Потом облако песка закрыло все и ничего не стало видно — опрокинулся киноаппарат.

Да мало ли чего с водолазами случается...

А тут пришел и Харитон Осадчий с Мишей, Федька поднял крик, и из кухни вернулся Петр Петрович. Мы, взрослые, занялись своими разговорами, а Миша принялся кормить Федьку бананом, который он принес из города. Федька ел банан осторожно, держа лапой и сдирая кожуру клювом.

— Так, значит, это ваш дедушка был на «Калиакрии»? — спросил Осадчий-старший. — Так, так.

При виде водолаза я сразу забыл про ужасные подводные истории. С Осадчим они как-то не вязались. Не зная, кем Осадчий работал когда-то, никто, глядя на него, не назвал бы профессию водолаза.

Был Осадчий толст, как Гаргантюа, и, наверное, большой любитель покушать. Дышал он шумно, как кит, и отирал пот разноцветным, как сигнальный флаг, платком. Долго он пыхтел и отдувался, ругая жару, прежде чем начал рассказывать про «Калиакрию».

— Подымал я ее, — сказал он, плотно утвердившись на диване и блаженно вдыхая шедший из кухни, куда снова удалился Петр Петрович, запах жареного мяса, — подымал «Калиакрию». Первой-то мы нашли не ее, а транспорт «Эльбрус». На нем, можно сказать, мы учились. ЭПРОН¹ наш только зарождался. А уж после взяли за «Калиакрию». Я ее на грунте из водолазов первым и осматривал. Было это в 1925 году. Пошел я вниз, и сравили мне сигнального линия, каната то есть, чтобы не соврать, метров сорок. Большая была глубина. И сумрачно. Но видеть можно. И вот смотрю: стоит на ровном киле тот миноносец. И словно

¹ ЭПРОН — Экспедиция подводных работ особого назначения. ЭПРОН был создан по инициативе Ф. Э. Дзержинского для судоподъемных работ. Начаты эти работы в 1923 году. Еще раньше, в декретах 1921 года, Владимир Ильич Ленин указывал на чрезвычайную важность для хозяйственной жизни Республики подъема затонувших судов. Проводить эти работы он предлагал в порядке боевой срочности.

не я к нему в своих свинцовых бахилах подгребаю, а он медленно на меня выплывает. Таинственное это дело, когда под водой на потонувший корабль смотришь. Что за корабль? Откуда? Какой судьбы? Кто по нем плакал? Да... Мы тогда еще не знали, что нашли «Калиакрию». По бухте-то много было кораблей раскидано. Но потом поднял я заглушку с вентилятора, по ней и узнали, что за корабль.

— А как же его поднимали?— спросил я.

— Да обыкновенно. Под днищем промыли водой из шлангов под большим давлением туннели, подвели канаты стальные— по-нашему полотенца, закрепили на них у бортов понтоны, дали воздух, и всплыла «Калиакрия». После, когда воду откачали и ремонтники все дыры позабывали, я внутри миноносца поползал. Надо вам сказать, дедушка ваш на совесть потрудился: смазаны были все машины тройным слоем машинной смазки. Так что морская соль до металла нигде за эти семь лет и не добралась. Когда все протерли и просушили, можно было в машине пары поднимать да идти своим ходом в порт. Вот какое дело.

Потом Осадчий рассказывал, как они поднимали другие корабли эскадры. А подняли их все. Не осилили только линкор «Заря свободы»: слишком был велик и тяжел.

Потом мы ели удивительное жареное мясо, приготовленное Петром Петровичем, и пили чай.

А когда Петр Петрович, спросил Осадчего-младшего, что они с дедом Харитоном сегодня видели, тот сказал, что они были на Малой земле и видели гранаты, пушки, пулеметы, мины, торпеды, автоматы, карабины, пистолеты... И еще пойдут смотреть завтра, что сегодня не досмотрели.

— А если бы вы взяли и меня с собой?— спросил я.

— Конечно!— почти закричал Осадчий-младший.— Идемте завтра с нами! Такое увидите! На пушке колесики покрутим! На танк залезем! А может, и пульку найдем, если повезет.

— Да,— сказал Петр Петрович,— на Малой земле побывать надо. Без Малой земли о Цемесской бухте что бы вы ни узнали, все будет мало и неполно.

— А мой дедушка завтра расскажет нам про десант,— сказал Миша.

И мы тут же условились, где завтра встретимся в городе, чтобы ехать на Малую землю.

— Харитон,— сказал Петр Петрович.— В прошлый раз ты говорил, что в Одессе есть кто-то с дреднута «Воля». Кто?

— Да живет, по слухам, кочегар с того дредноута. В эмиграции мыкался много лет. Когда фашисты начали войну, тот кочегар пошел к французам в партизаны. Про французское Сопротивление слышали? Вот он там и сражался. Так что потом, когда он попросился, чтобы его пустили обратно на родину, в Россию, наше правительство просто ему старые грехи и разрешило. Карнаух вроде бы его фамилия. Живет в нашем городе-герое Одессе. Да я наведу справки, когда вернемся. Если, конечно, тот кочегар не помер.

Глава шестнадцатая. МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Невелика оказалась Малая земля. Галечная полоса берега да повыше — пологие холмы, разделенные неглубокими оврагами. И холмы эти и овраги покрыты сухой травой, отцветшими маками, желтоватыми зонтиками молочая, запыленным мышиным горошком, колючками да вьюнком. Все это пространство можно было разом окинуть взглядом, стоя на самом высоком месте Малой земли, там, где сейчас памятник-стела павшим героям-десантникам...

Мы сидели с Харитоном Осадчим на теплом сухом камне-плитняке возле бруствера старого окопа. Цемесская бухта блестела на солнце, словно мятая фольга, и была перед нами как на ладони.

Фашистская пушка — темно-зеленая, с желтыми пятнами для маскировки — стояла в окопе. Когда-то она охраняла берег, и ее оставили здесь в доказательство того, как трудно было под дулами таких вот пушек, стороживших днем и ночью вход в бухту, высадиться нашему десанту на эту узкую полосу берега.

— Во-он, — сказал Харитон, когда Осадчий-младший перестал ковыряться в пыли и камешках, отыскивая осколки от гранат или снарядов, и уселся рядом с нами. — Вон там, под тем берегом Цемесской бухты, и шли ночью наши катера с десантом.

Десант был не главный. Его называли отвлекающим. Наши должны были навалиться на фашистов в другом месте, а здесь морякам задание было пошуметь да оттянуть на себя силы врага. А потом отойти.

Но так уж получилось, что в другом месте удар по фашистам не удался, а здесь десантники закрепились и даже потеснили фашистов. И тогда наше командование

решило кусочек этой береговой полосы не отдавать, а подбросить еще подкрепления и держаться дальше. Землю же называли Малой землей. И не зря о ней песни поют: здесь сражались богатыри...

— Ты про Кайду расскажи, про Кайду,— попросил Мишка.

— Про Кайду не слыхали?— спросил меня Харитон.— Кайда был в первом десанте. Невероятной силы матрос! Их от первого-то десанта за девять месяцев обороны Малой земли осталось всего трое. И Кайда в том числе. То, что о нем рассказывают, похоже на легенду. Но самое невероятное, что все это — чистая правда.

С ним, к примеру, на Малой земле вот какой был случай. Послали Кайду в разведку. Зашел он незаметно в тыл к фашистам, но тут пришлось ему вступить в бой. Все патроны Кайда расстрелял. Гранаты тоже кончились. Плохи дела. В это время налетели фашистские бомбардировщики бомбить Малую землю. А она ведь и вправду мала. Летчикам трудно разглядеть, где наши в щелях да землянках зарылись, а где рядом фашисты оборону вокруг держат. Так что бомбы и начали падать в боевые порядки врага, то есть как раз в то место, где Кайда один ведет бой. Бомбы рвутся совсем рядом. Вот-вот накроют. Тут Кайда выждал момент и побежал. Полсотни метров пробежал, свалился в окоп и замер: совсем рядом в окопе, зажав уши и спрятав голову в колени, в своих касках с рожками, сидят два гитлеровца. Бомбы рвутся рядом, фашисты сжались, не только уши — глаза закрыли. А у Кайды ни патронов, ни ножа. И тогда он решился. Удар матросского кулака, второй. И вот Кайда, перекинув через плечо два трофейных автомата, ползет к своим. Так и выбрался из окружения.

Потом мы с вами пойдем на набережную, так я вам покажу памятник Неизвестному матросу. Это он так называется — Неизвестный матрос, но каждый в Новороссийске знает, что делал скульптор тот памятник с матроса Кайды. Он, Кайда-то, жив и сейчас. И можно его увидеть где-нибудь на улице Новороссийска. Узнать его можно сразу — по богатырской фигуре, по тому, что носит он всегда свою матросскую форму со всеми орденами и медалями, так как поклялся до самой смерти не снимать ее. Так его здесь и зовут: Кайда — черноморский матрос. Вот из каких людей был тот, первый десант,— закончил свой рассказ про Кайду Харитон Осадчий.

Я смотрел на бухту, на белые катера с праздной, отдыхаю-

щей публикой, и трудно мне было представить этот теперь такой мирный и тихий берег грохочущим от разрывов бомб и гранат, черным от дыма и пожаров и как на этом берегу то тут, то там вспыхивали крики «ура!» и «полундра!» и в рукопашных схватках мешались черные матросские бушлаты с зелеными шинелями фашистов... И саму Цемесскую бухту, сверкающую теперь на солнце, теплую и ласковую, не мог я представить себе другой, холодной, темно-свинцовой в декабре, с белыми столбами—всплесками от мин и тяжелых снарядов...

И, словно понимая мои мысли, Харитон сказал:

— Ох, сколько металла лежит там, на дне Цемесской бухты! В сорок четвертом чистили мы, водолазы, вместе с минерами подходы к берегам—чего только не поднимали! И затонувшие катера, и ящики с боеприпасами, и неразорвавшиеся бомбы. А раз даже самолет-штурмовик подняли. А дно Цемесской бухты так все было усеяно осколками—водолазы по ним шли, как по галечной россыпи.

При этих словах достал Харитон свой платок—сигнальный флаг и принялся вытирать потное лицо и шею.

Потом мы поднялись и пошли к памятнику-стеле.

Ветерок, чуть тянувший с бухты, сник, и начало припекать. Харитон жаловался на одышку, так что мы брели тихо-тихо, а я все оглядывался на пушку, уткнувшуюся стволом вниз, и на окопы, которые с годами, наверное, совсем осыплются, сгладятся и затеряются в травах.

А пока мы медленно шли, Осадчий-младший отбегал то влево, то вправо в поисках реликвий войны, пока не подбежал, наконец, к нам и не показал на раскрытой, потной, грязной от земли ладони два осколочка от гранаты-лимонки.

Потом мы бродили по Новороссийску и Харитон показывал нам с Мишкой разные памятники—и командиру десанта майору Цезарю Куникову, и тот, Неизвестному матросу, и даже—на каменной крутой волне—большой, настоящий торпедный катер... И тут я вспомнил про вагон, который видел еще тогда, в первую поездку. Харитон знал и про вагон. Это тоже был памятник—остов вагона, пробитый пулями и осколками. Он был поставлен на последнем рубеже обороны Новороссийска, на том месте, дальше которого фашистов ни на шаг не пропустили...

Мы расстались только к вечеру, но зато как давние-давние и хорошие знакомые.

— А знаете,— сказал я Харитону,— я ведь, в сущности, как бы давно с вами познакомился. Несколько лет назад.

— Как так? Чего ж я вас не упомяну? У меня память на людей цепкая.

— Да нет, видел я ваш водолазный костюм. В музее.

— Ах, это...— сказал Осадчий.— То пустяки. Костюм старый. Для работы уже не годится. Я его в музей и отдал. Просили... Подумаешь, музейная ценность...

— Вы нам в Одессу пишите,— сказал Мишка.— И приезжайте. У нас в городе тоже много всего интересного.

И на прощанье Мишка подарил мне один из найденных осколков от лимонки. И это был настоящий подарок! Осколок с Малой земли...

Глава семнадцатая, ОЧЕНЬ КОРОТКАЯ

Вернувшись в Ленинград, я попытался узнать что-нибудь относительно Ивана Лепешкина. Но узнал только то, что он, будучи в 1915 году после суда над гангутцами осужден на каторгу в числе тех двадцати пяти матросов, с каторги через полгода бежал. Верные люди помогли ему перебраться за границу.

И все. Больше об Иване Лепешкине, матросе с «Гангута», ничего не было известно. В Россию он после 1916 года не возвращался.

Глава восемнадцатая. ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД

Быстро летит время. Я и не заметил, как прошло больше года. И настала осень.

«Думаю, что теперь Вы сможете услышать конец давно интересующей Вас истории,— написал мне Петр Петрович.— Да и вообще, навестите старика».

А в конверте был засохший лист винограда.

Ах, как мне захотелось поехать! Снова увидеть голубую Цемесскую бухту. Пройти по ее берегам. Увидеть горы, сиреневые на закате. Услышать снова голос Петра Петровича, сесть в глубокое кресло в его кабинете. Я даже по невоспитанному Федьке соскучился и по его болтовне.

Взял я отпуск на неделю и поехал.

В день моего приезда в Новороссийск задул сильный ветер, который местные жители называют бора.

Между двух самых высоких гор закружилось вдруг серое облако. Облако быстро сползло вниз, и ветер, словно прицеливаясь, ударил несколько раз по зеленой глади Цемесской бухты и погнал короткие волны на пристань, на мол, на набережную.

Потом сыпанул дождь и бора задул по-настоящему.

Ночью в гостинице я несколько раз просыпался и слушал, как беснуется ветер. По крыше стучали и скрипели ветки деревьев, и казалось, что неведомое чудовище цепляется когтями за дом и хочет опрокинуть его или хотя бы сорвать крышу.

Где-то рвало и трепало лист железа. Где-то хлопала фанера. Где-то звенело вдруг разбитое стекло.

Но уже к вечеру следующего дня, когда я направлялся знакомыми улочками к домику Петра Петровича, ветер стих. Только осыпавшиеся в садах яблоки да сломанные цветы в палисадниках говорили о прошедшей ночи.

Зато бора начисто подмел мостовые — все до последней соломинки и бумажки.

— Залп всем лагом! — приветствовал меня Федька.

— Вам повезло, — сказал Петр Петрович. — Бора дул всего одни сутки. Это бывает редко. Обычно, если бора не кончает дуть в один день, он дует три дня. Не два, а именно три. Или шесть. Или девять. Или двенадцать. Но не будем отвлекаться. Итак, мой друг, известный уже вам Харитон Осадчий, как и обещал, разыскал-таки в Одессе кочегара с «Воли». Кочегара по фамилии Карнаух.

Я хотел было сразу связаться с вами, но подумал, что времени терять нельзя: кочегару шел восемьдесят шестой год. И как сообщил Осадчий, старик уже плохо слышит, да и видеть стал худо. А тут пока бы я вам писал, да пока бы письмо шло, да вы бы раздумывали, с чего начать, — и узнавать было бы не у кого. Так, впрочем, и случилось: через два месяца после того, как Карнаух ответил мне более-менее обстоятельно, он, к сожалению, умер... Что делать, все мы смертны... Н-да... Но вспомнить он успел кое-что любопытное.

С этими словами Петр Петрович положил передо мною обыкновенную ученическую тетрадь, на розовой обложке которой корявым почерком было выведено:

НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О
ДАВНИХ ГОДАХ, ЗАПИСАННЫЕ ИВАНОМ КАРНАУХОМ,
КОЧЕГАРОМ С ДРЕДНОУТА «ВОЛЯ», В г. ОДЕССЕ,
ПО ПРОСЬБЕ КАПИТАНА ДАЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ ПЕТРА
ПЕТРОВИЧА В МАРТЕ — АПРЕЛЕ СЕГО ГОДА.

— Читайте,— сказал Петр Петрович.— Карнаух писал все это, отвечая на мои вопросы. Отсюда и некоторая непоследовательность его изложения.

И я начал читать.

«С Новороссийска мы на «Воле» снялись ночью в Севастополь. За нами в кильватере пошел «Георгий Победоносец», за ним крейсер «Кагул», а потом и эсминцы и транспорты.

Я, конечно, не думал, что жизнь моя после этого двинется в худшую сторону, а то бы лучше остался в Новороссийске. Мы тогда не понимали, что обратного пути уже не будет. Но дело было сделано. Я в ту ночь на вахте у топок как раз не стоял, а был свободен и был на верхней палубе.

Когда мы проходили мимо миноносца «Керчь», который стоял при выходе возле бонового заграждения, была у нас боязнь, что с «Керчи» саданут нам в борт миной, но, слава богу, «Керчь» мы миновали благополучно. Вслед же они нам просигналили фонарем: позор, мол, вам, изменникам... И вправду, чувствовали мы себя если еще тогда не изменниками, но убегающими шкурами, о чем между собой на палубе матросы «Воли» говорили.

И верно, потом «Воля» наша побывала в разных руках, точно худая кобыла... Послужили мы и немцам, и французам, и Деникину, чтоб его и имя не вспоминать, и даже барону Врангелю. Врангель в 1920 году увел дредноут вместе с другими кораблями эскадры сперва в турецкий город Константинополь, а потом приткнулись мы к Северной аж Африке, в городе Бизерте. Здесь поставили наши корабли на прикол. Тут-то и начались новые наши беды и мытарства. Никому мы там не были нужны, в чужих краях. Языка не знали. Денег не было. Кто пристроился швейцаром, кто сторожем, кто шофером, кто и посудомойкой — лишь бы с голоду ноги не протянуть. Мне еще повезло, и взяли меня в портовую кочегарку.

С эскадрой в Бизерту пришло русских моряков около пяти тысяч человек. И многие так в Бизерте и остались, никуда не поехали дальше, потому что боялись, что попадут в места еще глуше и хуже. А еще нам казалось, что здесь,

рядом с кораблями, у нас остается какая-то надежда. А вернее-то, крохи надежды. И даже вовсе никакой. Но корабли нам казались частичкою России. Хотя какая Россия? Даже русских флагов над кораблями уже не было. Власти велели убрать. Топки были погашены, электричества динамо-машины не давали, и стояли корабли, как пустые гулкие железные гроба... Но все-таки они были рядом, эти корабли...

Офицеры — те устроились получше. Кое-кто и языки знал, и работу нашел почище, и хорошие места. А кое-кто увез из Одессы и деньги и кой-какое золотишко.

Помню ли я унтер-офицера Константина Саввича Каргина? Да, помню. В Бизерте его знали многие. Работал он там в ресторане «Голконда» — играл на большой трубе. Знали же его многие потому, что Каргин занимал морякам кое-какие суммы — под проценты. То есть занимался ростовщичеством. И многие у него брали...

Раз в году у нас в Бизерте происходил, если так можно назвать, парад. В порту перед кораблями собирались все наши с эскадры. Все экипажи. Было и немало зевак. Еще бы! Парад русских моряков!

Из матросских сундучков или там из офицерских саквояжей извлекалась сберегаемая годами форма, завернутые в суконку кресты да медали, кортики офицерские да боцманские дудки. Все мы выстраивались во фронт по ротам, по названиям кораблей. Где «Дерзкий», где «Жаркий», где «Пронзительный»... Эти названия ничего не говорили местным жителям, а для нас-то это была наша прежняя жизнь.

Для нас это был единственный в году праздник. И быть может, один только этот день мы и ощущали себя русскими...

Экипажи выстраивались за экипажами и на правом фланге, как и полагалось, стоял оркестр с нашего дредноута «Воля». И Каргин в тот день всегда был при оркестре, со своей большой трубой.

Как же проходил наш парад? В походной часовенке судовой поп отец Николай служил молебен. Наступала торжественная минута, и перед всем фронтом выходил наш адмирал — толстый и важный, с седой бородой во весь мундир. Он снимал с лысой головы фуражку, крестился на походную нашу часовенку, фуражку надевал и давал знак офицеру начинать парад. Оркестр играл царский гимн, и мы все — экипаж за экипажем, ряд за рядом — проходили мимо

адмирала, отца Николая и оркестра... Мимо толпы зевак. Мимо своих кораблей...

И так повторялось год за годом.

Конечно, нас, моряков, становилось все меньше. Кто в конце концов срывался с места и уезжал в другие страны в поисках лучшей доли. Кто умирал. Кто пропадал неизвестно куда...

Одежда оставшихся, у нас то есть, год от году ветшала. Серебряные медали подчас отправлялись в заклад, а то и продавались на бизертинской барахолке.

Но все-таки наступал день, и выстраивались остатки экипажей, и оркестр на правом фланге, и большая медная труба того самого Каргина была, как всегда, на месте. Адмирал унтера отличал и знал лично. И, оглядывая редущие наши ряды, он при виде большой блистающей трубы всегда оживал, светлел лицом и как бы набирался бодрости. И давал знак начать парад...

Но в поздние годы это было уже довольно жалкое зрелище. Потому что нестройным шагом проходили мы, поседевшее, иссохшее воинство, в белых-белых от стирки, а некогда синих, как море, матросских воротниках, во фланелевках, подколотых кое-где английскими булавками. Кто в сапогах по форме, а кто — увы! — и в штиблетах да башмаках.

И только неизменно вились за плечами нашими ленточки бескозырок.

Но вот случилось событие, прошедшее, впрочем, тогда незаметно. В 1936 году был убит тот самый, которым вы интересовались, унтер-офицер Каргин. Вроде бы подозревали убийство с целью ограбления, потому что, как я говорил, он был человек со средствами. На следующий день уголовная полиция Бизерты арестовала моряка с проходившего рейсом из Австралии трампа — так называют суда-бродяги, развозящие грузы из порта в порт по всему свету. Моряка этого опознал случайно в день убийства Каргина один нищий-попрошайка.

Как раз началась война в Испании, когда фашисты напали на республиканцев, и дело то с убийством унтера Каргина забылось за новыми газетными сообщениями. Но для нашего ежегодного праздника, как вы сейчас увидите, это сослужило плохую службу. О чем я и расскажу также...

Потому что в тот же год, когда наш адмирал, еще более согнувшийся за эти годы, как всегда, справился, на

месте ли в оркестре большая бас-труба, ему отвечали, что унтер-офицер его императорского величества флота Российского Каргин преставился...

— Как — преставился? — спросил адмирал.

— Так и преставился. Помер. И уже похоронен. И заменить его в оркестре некем совершенно.

Вот как доложили нашему адмиралу.

И тогда адмирал как-то неопределенно махнул рукой, повернулся и, еще больше сгорбившись, пошел почему-то прочь от нашего строя и кораблей.

Все мы недоумевали. Мы стояли и ждали, что он вернется. Но адмирал так и ушел. Совсем. И больше его уже никто никогда не видел.

Подкосил его, значит, этот самый бас-геликон навсегда. А может, понял, что ни к чему он, наш парад. Впрочем, кто его знает? Дело давнее.

Это был последний день, когда мы, русские моряки, все собрались в Бизерте у наших кораблей. Это был наш последний парад. Вернее, парада-то уже и не было. Некому было его принимать.

Потом началась вторая мировая война, и остатки экипажей эскадры судьба разбросала по свету, кого куда. Мне, к примеру, довелось воевать во Франции вместе с антифашистами. Сражался я верой и правдой, искупая свои прежние заблуждения. Был и ранен, и награжден французским орденом. После войны я попросил Советское правительство разрешить мне, старику, вернуться на Родину, чтобы хотя умереть на родной земле. Правительство снизошло до моей просьбы и разрешило мне вернуться в СССР. И даже велело назначить мне для прожития пенсию. За что я ему весьма благодарен. Вот и все, что по просьбе вашей имею я вспомнить.

Насчет матроса с эсминца «Поспешный» Николая Евстафьева ничего сказать не могу, так как я его не знал — ни лично, ни через других матросов...

В чем и подписываюсь Иван Карнаух,
бывший кочегар с дредноута «Воля».

Глава девятнадцатая. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НОМЕР ШЕСТЬ

— Но ведь это же лишь некоторые добавления к тому, что мы с вами уже знаем! — сказал я Петру Петровичу, закрывая тетрадь.

— А вы не спешите,— сказал он.— Не спешите, не спешите. Вы забыли, что у нас есть доказательство номер шесть.

И Петр Петрович развернул пожелтевшую французскую газету, в которую была некогда завернута фотография, присланная из Бизерты матросом Евстафьевым.

— Не могу утверждать,— продолжал Петр Петрович,— завернули ли фотографию именно в эту газету намеренно, или сделали это случайно. Но здесь,— он уткнул свой длинный тонкий палец в нижний правый угол страницы,— да, именно здесь и есть конец всей истории. Я попросил перевести мне заметку.— И Петр Петрович отчеркнул резко ногтем колонку мелкого шрифта.— Это,— пояснил он мне,— отчет из зала суда, сделанный местным репортером судебной хроники. Я прочитаю вам точный перевод.

«ИЗ ЗАЛА СУДА»

Мы имеем возможность сообщить нашим читателям некоторые дополнительные сведения относительно убийства моряка русской колонии в Бизерте К. С. Каргина матросом с грузового судна «Сен-Валери» Жаном Лепешем.

Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что Каргин не был убит каким-либо орудием, как ранее предполагалось, но умер от разрыва сердца, и дело по обвинению Жана Лепеша в прямом убийстве суд отклонил.

Когда обвиняемому был задан вопрос, как все это произошло, он ответил, что лишь показал кулак месье Каргину и кое-что сказал (что именно он сказал, Жан Лепеш повторить суду отказался).

Он же заметил, что есть давние дела, которые не могут касаться французов. При этом он добавил, что вообще-то убить Каргина стоило бы, как бешеную собаку, потому что он является предателем. В чем он, Жан Лепеш, может представить доказательства.

Данное предложение не было принято к рассмотрению, так как касалось прошлого, имевшего место в России.

Суд обратил внимание на личные мотивы мести в поступке Жана Лепеша, косвенно послужившей причиной смерти Каргина. А именно: словесные угрозы и угрозы кулаком.

Тогда обвиняемый сказал, что Каргин — дважды преда-

тель. Во-первых, он выдал восставших матросов с «Гангута» в 1915 году, а во-вторых, когда он, Каргин служил на русском же линейном корабле «Воля» и корабль стоял под красным флагом в бухте Цемесская, то был он послан к генералу Краснову и обратно. В секретных же бумагах он, Каргин, доставил тайно план сдачи эскадры немцам, что частично и было совершено позднее.

Судом все это было принято к сведению. Ввиду позднего времени заседание суда было перенесено на утро следующего дня.

Тем не менее не далее как вчера ночью осужденный бежал из здания казарм Буживиль.

Мы уже обращали внимание наших читателей на непригодность и ветхость помещений, которые используются под места заключения в нашем небольшом, но процветающем городе. Обращаем еще раз. И пусть данный случай послужит упреком городским властям».

Вот так...— сказал Петр Петрович.— Это и есть конец истории. Потому что если мы французское имя Жан превратим в русское Иван, а искаженную французским произношением фамилию Лепеш — в обыкновенную русскую Лепешкин, то...

— Иван Лепешкин! — воскликнул я, ловивший в продолжение чтения Петром Петровичем всего репортажа ускользающее сходство в звучании двух этих фамилий — французской и русской. — Конечно же, Жан Лепеш — это Иван Лепешкин, друг детства моего дедушки. Один из тех, кто тогда ночью в тюремной камере Свеаборгской крепости дал клятву расправиться с предателем. Иван Лепешкин, бежавший с царской каторги и переправленный друзьями за границу. Пропавший с тех пор неизвестно куда.

— Да,— сказал Петр Петрович,— да, да, да. И он исполнил свою клятву. Мы не можем сказать, как произошла их встреча с Каргиным в Бизерте. Думаю, что, плавая матросом на случайных иностранных судах, он долгие годы искал Каргина. И встретил, наконец, в Бизерте. А вот откуда он узнал, что именно Каргин был послан с «Воли» к генералу Краснову,— трудно сказать. Но вероятно, так оно и было. Если уж человек встал на путь предательства, то пойдет по нему до конца. Так что ваш дедушка вычеркнул его на той своей фотографии не зря. Он вычеркнул его из своей жизни.

И Петр Петрович возвратил мне фотографии из старого альбома, письмо моего дедушки, с которого, можно сказать,

и началась вся эта история, и голубую акварель, на которой Иван Лепешкин когда-то изобразил быстроходный корабль, и корабль этот мчался по бурному морю, и не было видно конца его боевому походу...

В это время попугай Федыка встрепенулся и едва не свалился с жердочки, но удержался, хотя для этого ему пришлось совершить полный оборот вниз головой.

— Мар-р-рсовые по вантам! — проскрипел он голосом удавленника. — С якоря сниматься! Паруса ставить!

— Совсем уж постарел мой Федыка, — грустно сказал Петр Петрович.

Глава двадцатая, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Я уезжал из Новороссийска вечером.

Было тепло и тихо. И было странно, что совсем недавно над городом и Цемесской бухтой бесновался и грохотал бора.

В воздухе пахло выброшенными на берег и уже чуть загнившими водорослями.

Казалось, вот-вот пойдет дождь, но дождя не было, а лишь туман кое-где начал рождаться над водой. Потом туман загустел, и проходившие корабли, катера и буксиры тревожно гудели сиренами, чтобы не натолкнуться друг на друга. И эхо замирало в горах.

Мне казалось, что это и не туман вовсе, а белые тени старинных кораблей витают над бухтой. Тени еще тех первых парусных эскадр Черноморского флота. Тех первых линейных кораблей с громадами парусов на высоких мачтах. С пеной, шелестящей под крутыми бортами. С белыми полосами орудийных палуб.

Ах, какие это были славные корабли! Над ними колыхались боевые флаги, простреленные в битвах при Корфу и Чесме, Силистрии и Синопе... И не гудки и сирены теплоходов разносило в горах эхо, а звуки боцманских дудок и рожков горнистов да скрипы тяжелых блоков.

Проплывали эти корабли и, отсалютовав, уходили.

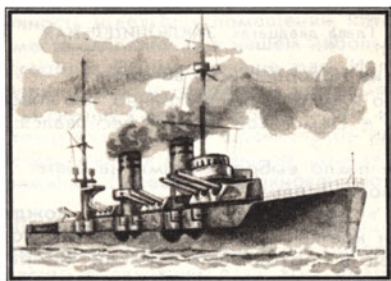
А на смену им приходили другие — и тоже великая слава Черноморского флота: корветы и броненосцы, эсминцы и дредноуты. В шумной пене шел славный «Потемкин», а за ним в кильватер — миноносец «Свирепый», и, как и на «Потемкине», на гафеле его трепетал не андреевский синевелый флаг, а красный флаг революции. И не солнце это

бросало вечерние отблески в полосах тумана, а пылал взбунтовавшийся крейсер «Очаков».

Прощаясь с бухтой, думал я почему-то о словах Петра Петровича: «Нельзя не помнить тех, кто был прежде нас...»

Удивительное дело: живешь на свете и не ведаешь о тех местах, которые есть на белом свете. А потом узнаешь про них многое и начинаешь любить всем сердцем. И людей узнаешь и начинаешь любить...

И уж куда бы ни уехал, где бы ни жил, все это будет в тебе навеки.





ШАХМАТЫ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Про моего доброго знакомого, старого капитана Петра Петровича, вы уже знаете.

Так вот, как-то приехал я к нему в гости и вижу: сидит мой Петр Петрович над шахматной доской. Сидит и лоб рукой подпирает, словно был занят сложнейшей шахматной задачей. Каким-нибудь ферзевым гамбитом или сицилийской защитой.

— Здравствуйте,— говорю,— Петр Петрович.— Решаете задачи шахматные?

— Здравствуйте, здравствуйте...— отвечает.— Не совсем шахматные, а скорее, человеческие. И даже, если хотите, могу рассказать вам одну историю.

— Еще бы не хотеть!

— Тогда слушайте.— Отодвинул Петр Петрович бережно шахматную доску.— Было это,— говорит,— года три тому назад, если не ошибаюсь, а может быть, и все четыре. Приходит ко мне один старик. С виду невзрачный и одет так, что можно сказать: живется ему нелегко. Ну, ладно.

Не мое это дело, кто как одет. Воспитанность человека, как вы знаете, и в том, чтобы не замечать, кто как одет.

Спрашивает меня:

«Вы такой-то?»

«Да, — говорю, — это я».

«Много о вас, — говорит, — наслышан. И знаю, что вы весьма интересуетесь историей флота — кораблями и моряками. Знаю также, что собираете разные редкости. Потому и хочу в таком случае сделать вам небольшой подарок».

И выкладывает на мой письменный стол эти самые шахматы, которые вы видите.

«Обратите, — говорит, — внимание — это не простые шахматы: они принадлежали герою восстания на крейсере «Очков», тезке вашему лейтенанту Петру Петровичу Шмидту».

Посмотрел я, знаете ли, так же, как вы сейчас смотрите, на шахматы: дивной работы фигурки, восточной! Пешки — маленькие солдатики со щитами и копьями. Кони — настоящие всадники. А то, что мы слонами называем, — слоны и есть, с башенками на спинах.

«Шахматы ваши, — говорю, — очень красивые, но как они к вам попали, если принадлежали, как вы утверждаете, знаменитому лейтенанту Шмидту?»

«Как попали? — спрашивает. — А вот как. Я тогда совсем еще был мальчишкой, и жили мы в Одессе. Родитель мой, да будет светлой его память, практиковал врачом. Квартиру же мы имели рядом с той, что снимал Шмидт.

Мой отец большой любитель шахмат. Шмидт тоже. Частенько они по вечерам сходились за шахматной доской. Нет, нет, не за этой. Играли они в шахматы, которые были в нашем доме и принадлежали моему отцу. Неплохие были шахматы, но с этими ни в какое сравнение, конечно, не шли. Да этих у Шмидта тогда еще и не было.

Так вот, значит, собирались они, и не только играли, но и, как я помню своим тогда еще скудным мальчишеским умишком, вели долгие разговоры о тогдашних всем близких событиях. То есть о тяжелой народной жизни, о рабочих волнениях, о восстании на «Потемкине» и о том, как можно все улучшить и переделать, чтобы для всех были и свет и свобода.

Случалось, Шмидт болел, и тогда мой отец лечил его и, как Шмидт ни настаивал, чтобы заплатить, никогда причитавшегося гонорара с него за лечение не брал.

Шмидт, как вы знаете, в те годы уже в военном флоте не служил, а работал в торговом. В России была такая

пароходная компания — «Добровольческий флот». И пароходы ее — «Москва», «Казань» и многие другие — перевозили срочные грузы и пассажиров во все концы земного шара. На одном из таких пароходов Шмидт и плавал. И случалось ему бывать в рейсах и на Дальний Восток, и в Китай, и в Японию. И вот однажды, вернувшись из Японии, он привез эти шахматы. Заплатил, должно быть, уйму денег — шахматы-то настоящей работы, серьезных мастеров. Но Шмидт, надо вам сказать, любил красивые вещи, был человеком с большим понятием красоты. Не саму вещь любил, работу ценил. Да... И вот как-то приходит он к отцу моему и ставит перед ним эти шахматы. Мой родитель даже ахнул. Сперва на этой доске он даже играть боялся — как бы не уронить фигуру да не разбить. А меня и близко не подпускал. С той поры они только в эти и играли.

Подошел 1905 год. Восстал против царя черноморский крейсер «Очаков». Матросы знали Шмидта как человека справедливого, заступника всегдашнего в былые годы его в военном-то флоте. И выбрали они его руководить восстанием. Думаю, что Шмидт понимал: не одолеют они царя. Сил, чувствовал, еще мало.

Помню, как видел я его в последний раз. Пришел он проститься с родителем моим. Лицом был светел, но задумчив и молчалив. И сыграли они в шахматы в последний раз. А потом Шмидт моему отцу и говорит: «Дорогой мой! Может быть, не судьба нам будет больше свидеться. Приближаются для меня важные события. Посвятить я вас целиком по известным соображениям, от меня не зависящим, не могу. Уж простите. Но в знак нашей давней дружбы прошу от меня принять эти шахматы».

Впрочем, родитель-то мой понимал, на какое святое и правое дело идет Шмидт — умирать идет за революцию.

Так эти шахматы у нас в семье и остались.

А через некоторое время увидел я отца моего в сильнейшем, можно сказать, расстройстве, прямо в горе. Сидел он над шахматами в одиночестве и утирал слезы. И когда я, неразумный шпингалет, побеспокоил его глупым вопросом, он не дал мне подзатыльника, как и следовало, но положил руку мне на голову и сказал: «Запомни, сынок, этот день. Потому что ушел от нас удивительной доброты человек...»

И узнал я, что на пустынном острове Березань, неподалеку от Севастополя, по приказу царя Николая II вместе с тремя матросами был расстрелян лейтенант Шмидт.

Да, плакал мой родитель. Плакал, не скрывая слез. Как, может быть, только потом плакал по нашей умершей в гражданскую войну матушке.

И как зеницу ока хранил он потом эти шахматы. И уж никогда и ни с кем не играл. Это была его великая и благоговейная память.

Родитель мой, будучи уже в преклонном возрасте, незадолго перед войной умер, а умирая, завещал мне хранить шахматы Шмидта. И велел, что если и со мной что случится, то чтобы я передал их в такие руки, которые сочту достойными. Вот и я состарился совсем. Живу одиноко. О вас слышал много хорошего. Думаю, что шахматам у вас будет самое верное и надежное место. И я вам эту реликвию и отдаю.

Так сказал он и ушел. И оставил мне шахматы. Вот полюбуйте на них вместе со мною. Я их, как видите, иногда достаю и осторожно расставляю на доске. И подолгу на них смотрю...

Полюбовался шахматами я вместе с Петром Петровичем. И действительно, дивной были работы эти шахматы. Время на слоновой кости положило желтые мазки и кое-где черные трещинки протянуло. И еще я потому с великим интересом на них смотрел, что сам Шмидт в них играл.

Представил я себе Севастополь. Извилистые бухты его гаваней со множеством кораблей на якорях и у причалов. Береговые его форты со многими пушками... 1905 год... Тогда восстали на царских кораблях матросы и подняли на мачтах красные флаги. А над мостиком крейсера «Очаков» был поднят сигнал: «Командую флотом. Шмидт». Сигнал был всем кораблям, что стояли тогда на серой и холодной ноябрьской воде. Только не все корабли поддержали «Очаков». И мало было сил у матросов. Не удалось им победить. Ударили пушки с Константиновского и Михайловского фортов. Грянули тяжелые орудия с броненосцев. Темным дымом заволочло бухту. Сгорел и затонул крейсер «Очаков».

Вот что мне представилось, когда я смотрел на шахматы Шмидта.

— А это действительно шахматы Шмидта? — спросил я Петра Петровича.

— Вот-вот, — сказал он, — тут-то и вопрос. Но слушайте дальше. Принялся я просматривать кое-какие бумаги, относящиеся к жизни Шмидта. Даже полицейские протоколы, в которых значились вещи, ему принадлежавшие. О шахматах ни слова. И у Шмидта в бумагах и в воспоминаниях о нем знавших его людей о шахматах ничего не говорится.

Стал я все о Шмидте узнавать. Много нового разыскал. Кстати, установил, что когда Шмидт командовал восставшим «Очаковым», то был он не лейтенантом, а капитаном второго ранга.

— Как так?

— А так. Я, знаете ли, обратил внимание, знакомясь с экспозициями одного морского музея, что погоны на плечах Шмидта на фотографии не лейтенанта, а капитана второго ранга. «Что такое?— думал я, рассматривая фотографию.— Может быть, путаница какая-нибудь?»

Принялся за архивные документы. Добрался до отставки Шмидта. И узнал, что когда Шмидт был в отставку уволен, так в чине капитана второго ранга. Таков был порядок. Царь чтобы позолотить, как говорится, пилюлю, подписывая офицеру отставку, прибавлял ему чин. Дескать, чтобы обид не было. Никаких щедрот от этого человеку не прибавлялось — ни деньгами, ни уважением. Чин-то был только на бумаге.

Но Шмидт считал, что ежели ему дан чин русским флотом, то он его и достоин. И когда на «Очаков» матросы его позвали, то пошел он не в форме лейтенанта, но капитана второго ранга. Так-то. Ну, да историки внесут, конечно, свои поправки. Мы же отвлеклись от главного. Про шахматы я так ничего и не узнал. Я и с музейными работниками советовался. Нет точных доказательств, что эти шахматы точно принадлежали Шмидту! Доказательство только то, что рассказал мне старик. По его рассказу все верно выходит. И в Японии Шмидт бывал. И в шахматы любил играть. И человек был широкой души, мог купить дорогие шахматы, а потом подарить. Все так. К тому же шахматы сейчас, наверное, больших денег стоят. Но вот человек, хоть и видно, что нуждается, не продал их, отдал. Потому что память.

Иногда достаю их, как сейчас вот, смотрю и размышляю, что к этим вот маленьким фигуркам прикасались пальцы Шмидта и что думал он над ними, склонив свою благородную голову. И верю я, что это — шахматы Шмидта...

ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

Не так давно, осенью, когда я навестил старого капитана, был он не совсем здоров. Все-таки годы дают о себе знать. Но Петр Петрович работал. Стол, стулья, коврик на полу,

широкий подоконник — все это было занято какими-то папками с разноцветными корешками, кипами рукописей, книгами и книжечками с пучками закладок, листками с выписками, схваченными скрепками или сшитыми в углу ниткой, блокнотами и блокнотиками и просто грудями бумаг...

Из черных конвертов, в которых обычно хранят фотобумагу, торчали фотоснимки. Желтые твердые карточки картотеки, словно осенние листья, валялись там и тут.

— Вот, — сказал Петр Петрович после того, как мы обменялись с ним крепким рукопожатием, — завален, знаете ли, голубчик мой, бумагами... С другой стороны, ничего не выбросишь, все нужное, все жалко. Обратите внимание на эту папку. Здесь материалы о русских крейсерах времен русско-японской войны. Нужен вам «Рюрик» — пожалуйста: вооружение, толщина брони, год спуска на воду.

Здесь все о находках водолазами под водой старинных кораблей. Галеон «Ваза», фрегат «Батавия», галера «Хирона»... И сведения — какой груз везли, какие ценности.

Или вот связка бумаг. Здесь все об островах. Ну, что вы, к примеру, знаете об островах?

Я что-то промямлил насчет части суши, окруженной со всех сторон водой, но замолчал, устыдившись. Но Петр Петрович этого не заметил и продолжал:

— Здесь об островах все или почти все. И много прелюбопытного. Знаете ли вы, например, что есть остров, на котором живут только одни кошки? Он так и называется — остров Кошачий. Есть остров змей. Остров, где обитают одни только крысы с кораблей, потерпевших крушение. Есть им нечего, так они приспособились нырять и ловить рыбу. Имеется остров, где живут одни ослы. И есть остров целиком из соли — Ормуз, неподалеку от турецких берегов.

— Ага, — сказал я, — теперь мне понятно, почему Канарские острова называли Канарскими. Там живут канарейки.

— Совсем нет! Просто потому, что в давние времена на этих островах обитали большие дикие собаки. Один человек поймал несколько собак и доставил на корабле в Европу. Все удивлялись громадным и свирепым псам. В те века языком письменности в Европе был латинский язык. Собака по-латински «канис», и в книгах тех лет, а потом и на морских картах эти острова называли Канарскими, то есть не Канарейкиными, а Собачьими. Так оно и осталось. А уж много позднее желтых веселых птичек, которые моряки привозили с Канарских островов, называли канарейками.

Или вот еще удивительная история названия острова,

связанная с восстанием декабристов. Мне ее прислал один морской офицер.

Представьте себе то время, когда Наполеон вторгся в пределы России. Июль 1812 года... На рейде города Лиепаи встал на якорь русский фрегат «Амфитрида». Моряки еще не знали, что город занят войсками Наполеона, и к берегу под парусами направилась шлюпка. Командовал ею мичман Торсон. Едва к берегу приблизились, из-за кустов раздались выстрелы. Засада! Двух матросов убило, Торсону пробило пулей ногу. Преодолев боль, Торсон переложил руль и повернул обратно. С берега снова засвистели пули, но шлюпке удалось уйти. Мичмана Торсона представили к боевой награде. Прошло несколько лет. Константин Петрович Торсон стал отличным моряком. С экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева ушел к Южному полюсу. Остров, открытый в плавании близ Антарктиды, был назван его именем.

В 1826 году Морская комиссия разбирала проекты усовершенствования военного флота России. Один проект одобрили. Доложили о нем царю.

«Хороший проект! — сказал царь Николай I. — Кто автор?»

Вскрыли пакет и ахнули. Автор, бывший капитан-лейтенант Торсон, декабрист, в это время был на пути в Сибирь — на вечные каторжные работы.

«Проект положить под сукно! — приказал царь. — А остров — забыть!»

Остров спешно переименовали.

— И что же? Забыли?

— Забыли. Такие времена были ужасные. Назвали остров — Высокий. Но настоящие-то моряки всегда помнили, что это остров Торсон. А в наше время острову вернули его настоящее, заслуженное имя.

Видите, сколько ценнейших сведений про один только острова храню я в этих папках. Или вот, совершенно редкостные записные книжки. Хотите полюбопытствовать?

И дает мне Петр Петрович две записные книжки. Одну небольшую, с ладонь, другую форматом чуть побольше.

— Полистайте, полистайте, — говорит Петр Петрович, — а я пока приготовлю что-нибудь на ужин да чайник поставлю.

Раскрыл я одну книжку, которая поменьше, листаю. Только понять ничего не могу. В записной книжке нарисованы картинки. Картинки маленькие, на странице их штук восемь — десять помещается. То звери — кошка или заяц, тигр или слон; то мебель — стол да кровать, или шкаф, или стул... А то одежда — брюки, рубашка, рукавицы, тулуп.

Под картинками подписи на иностранном языке.

Ничего я не понял, взялся за другую записную книжку, которая побольше. Страничку раскрыл наугад, вижу — записи. Сделаны, правда, карандашом, строчки неразборчивые, торопливые. Однако читать можно. Читаю: «...Наши войска оставили Севастополь. Теперь в городе фашисты. Экипаж подлодки поклялся мстить врагу... В 14.00 атаковали корабль противника. От самолетов ушли на глубину...»

Вот оно в чем дело, думаю, это записная книжка советского подводника. Что же дальше там?.. А дальше я увидел непонятные черточки. Вот такие:

| | | | III | | | III | | |
|| | III | | | | | III | |

Много черточек. В два ряда. После — снова записи, и все понятно: «Вышли в поход. На вторые сутки заметили два транспорта и корабли охранения. Произвели атаку, выпустили четыре торпеды. Один транспорт потопили. Нас атаковали корабли противника».

И снова загадочные черточки:

III | | II III | | | II II III |

Дай, думаю, посчитаю хоть черточки. Может быть, в этом есть какой-нибудь смысл. Насчитал пятьдесят черточек. Перевернул страницу, читаю дальше: «Спать и отдыхать некогда: приходим из похода, уходим в поход. Нужно громить врага. Чтобы ни один фашист не ушел живым с нашего родного Черного моря. Ночью лежали на грунте. Утром всплыли под перископ. Атаковали транспорт с войсками. Попадание двумя торпедами. Нас со всех сторон преследуют сторожевые катера фашистов. Затаились на грунте...»

И снова черточки!

| | | | III III | III |

Прямо забор какой-то...

Тут входит Петр Петрович.

— Ну что? — спрашивает.

— Непонятные, — говорю, — записные книжки. Особенно вот эта, с картинками. Да и эта, с черточками. Загадка...

— Пока чайник греется на плите — а дело это нескорое, — объясню эти загадки. Сам сначала понять не мог.

Взял у меня Петр Петрович записную книжку, которая с картинками.

— Эта,— говорит,— попала ко мне случайно. Передал один человек и сказал: «Принадлежала моряку... Может, заинтересует...» И все. Записей, как видите, никаких, кроме того, что под рисунками, на испанском языке,— отдельные слова. Но на обложке, с внутренней стороны, обратите внимание, имя и фамилия: «Василий Кнутов, 1936 год».

Принялся я эту книжку вертеть и так и эдак, размышлять.

«Книжка, думаю, принадлежала моряку. Год — 1936-й. Сложное время, война с фашистами в Испании... Так... Слова под рисунками испанские. Какая-то связь уже есть... Конечно! В то время наши, советские пароходы возили республиканцам грузы. Значит, хозяин этой записной книжки плавал на одном из таких пароходов...»

Проще простого! Беру список судов, которые ходили в Испанию, и ищу людей, кто бы помнил моряка Василия Кнутова. Многих ветеранов нашего флота спрашивал, но никто такого матроса не помнил. И вдруг удача: один старик боцман вспомнил, что на его пароходе был такой матрос, Василий Кнутов. Где сейчас — не знает, но может сказать адрес штурмана с того же парохода. Я, конечно, сразу к штурману. Тот книжку взял, усмехнулся. «Еще бы, говорит, не помнить! Васина это книжечка. Я ее не только видел, но и в руках держал. И эти самые слова испанские по Васининой просьбе сюда вписывал. Сам-то Вася испанского не знал.

А было все вот как. В 1936 году вышли мы из Одессы и взяли курс на Испанию. Наш грузовой пароход вез продукты и одежду детям испанских коммунистов. Еще в Одессе Вася купил эту записную книжку и решил вписывать в нее испанские слова. Язык то есть изучать. А делал он это так: нарисует человечка — моряка в клешах и спросит меня в свободное от вахты время, как, мол, называется? Я ему по-испански под картинкой подпишу «маринеро» — моряк.

Нарисует Вася быка, подпишу «торо», бык... Много слов выучил Вася. Мы уже к берегам Испании подходили. Но тут захватили пароход франкисты и отвели в свой порт. А нас, всю команду, бросили в тюрьму. Они хотели заставить советских моряков отречься от Родины. Я попал в одну камеру с Васей. Обыскали нас. У Васи нашли эту записную книжку. Помню, офицер заглянул в нее и захохотал. «Рисуй, говорит «эспозас» — наручники, «карсель» — тюрьма, «реха» — решетка. Ха-ха-ха! Узнаешь у меня испанский язык!»

Не смогли фашисты сломить нашу волю. Продержали в тюрьме несколько недель и выпустили. Но посмотрите, есть в записной книжке страницы, где мрачные рисунки —

как память о тюрьме: и часовой, и кандалы, и решетка... А потом, когда нас выпустили, Вася снова записывал настоящие, хорошие испанские слова...»

Вот, значит, что вспомнил тот штурман. А со второй записной книжкой такая история. Принадлежала она командиру подводной лодки. А черточки эти — его нехитрая арифметика. Каждая черточка означает сброшенную на подводную лодку глубинную бомбу. Черточек в записной книжке сотни. И каждая бомба могла стать для подводной лодки последней... Обратили внимание, какие буквы? Вкривь да вкось. Это лодку взрывами швыряло. Но только всегда она от фашистов уходила. Иначе бы мы не держали сейчас в руках эти записи. Вот что означают загадочные черточки. Нет их только на последних страничках — эти записи сделаны командиром уже незадолго до Дня Победы. А уж тут, понимаете, глубинные бомбы на подлодку сбрасывать было некому — разгромили фашистов начисто.

Закончил свой рассказ Петр Петрович, спрятал обе записные книжки и сказал:

— А теперь идемте-ка на кухню чай пить. С кизилковым вареньем.

НЕПОНЯТНЫЙ СИГНАЛ

Дело в том, что Петр Петрович первые два года Великой Отечественной войны провел на северных морях.

На пароходе Петра Петровича по случаю военного времени поставили пушку, два пулемета и поручили возить военные грузы из портов наших союзников — англичан и американцев.

По одиночке в те годы пароходы не ходили: боялись нападения подводных лодок и самолетов фашистов. Собирались в караваны. Караваны охранялись военными кораблями. Все вместе называлось конвой.

В составе такого конвоя из сорока двух транспортов и эсминцев и вышел пароход Петра Петровича из английского порта.

Пароход, надо сказать, был старенький. Пар в котлах держали еле-еле, но десять узлов кое-как делали. Курс взяли на Архангельск. Груз был — взрывчатка и танки.

По каким-то причинам конвой задержался и упустил плохую погоду. Это до войны хорошую-то погоду моряки любили, а как война началась, не жаловали. Уж лучше

шторм, снег да туман. Целее будешь. В туман-то или шторм незаметнее проскочишь мимо фашистов.

А тут вышли — небо чистое, волна едва качает корабли. «Тяжелый будет рейс», — подумал Петр Петрович.

На третьи сутки плавания налетели фашистские самолеты. И вот тут-то и сказала старая машина парохода: не смог он увернуться от бомбы. Потасил за собой черный дым, загорелся. Сейчас же подошел с правого борта английский эскортный эсминец и поднял сигнал флагами: «Приказываю покинуть судно! Команде перейти на эсминец!»

Сигнальщик Петра Петровича спрашивает:

— Что ему отвечать?

— А отвечай, — говорит Петр Петрович, — что мы тушим пожар. Судно свое не бросим.

Эсминец развернулся, снова подошел, но с другого борта. А на эсминце был сам начальник конвоя, английский адмирал.

Побежали вверх сигнальные флаги, натянулись на ветру. Сигнальщик читает: «Оставить судно! На исполнение пять минут!»

С парохода тот же ответ.

Эсминец в третий раз обходит горящий пароход.

— Сигналят, — говорит Петру Петровичу сигнальщик, — только не разбираю что. Все флаги ясно вижу, а непонятно...

Петр Петрович пригляделся.

— Все, — говорит, — понятно. С адмиралом мы, можно сказать, старые знакомые. Когда я в Лондон ходил, имел с ним дело по торговой части. Он мой характер знает, и я его — тоже. Сигнал этот для меня лично. На русский язык совершенно не переводится...

Англичане — они нация, конечно, воспитанная. Джентльмены. Но и у них на старом флоте были кое-какие неофициальные выражения, которые мы в сводках сигналов найти не сможем. Но мало ли чего не найдешь нужного в разных толстых справочниках? В справочниках нет, а люди знают. Тем более моряки.

Сигнальщик был не дурак, толковый был человек, сразу понял, что адмирал бранится. Сигнал же на всякий случай запомнил.

Время, однако, было военное и жестокое, и порядок был такой, что подбитый пароход полагалось бросать в море, а конвою — идти своим путем дальше. И пароход остался один.

Пожар на нем тушили, как могли. Наступила ночь. В чер-

ной воде всплыла черная подлодка. Медленно обошла вокруг парохода.

Петр Петрович приказал всем:

— Отставить гасить пожар... Уйти с палубы... Затаяться... Пусть немцы думают: горит оставленный людьми пароход.

Ушла под воду страшная рубка. Фашисты не стали тратить на обреченный пароход ни торпеды, ни снарядов.

К утру на пароходе удалось совсем погасить пожар. Петр Петрович приказал дать ход и взять курс прежний— на Архангельск.

Тихо входил в порт израненный и обгоревший пароход. Он шел мимо пустынных причалов, мимо белых от снега, счастливо пришедших в порт кораблей конвоя. И когда пароход поравнялся с эсминцем, где был адмирал, подняли англичане сигнал: «Удивлены! Как вы дошли?»

— Что ответить?—спросил хриплый от недосыпания и усталости сигнальщик.

— Подними тот самый сигнал, что на русский плохо переводится,— отвечал Петр Петрович.

ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ НА «НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ»

«Новой Голландией» называли петроградскую радиостанцию военно-морского порта: дом радиостанции стоял на острове Новая Голландия, а остров так назвал еще царь Петр в память о своей поездке в заморскую корабельную страну— Голландию. Голландия, как вы знаете, вся стоит на каналах. Глубокий канал окружает и Новую Голландию— отсюда и название...

В дни Октября радиостанцию захватил отряд революционных матросов, и тогда же радист отступал на весь мир:

«...Правительство Керенского низвергнуто и арестовано. Керенский сбежал».

Радист дежурил подряд двое суток и очень устал. То и дело ему приносили листочки с текстом радиограмм.

— Срочно! Быстро! Вне очереди!

И радист прижимал к ушам жесткие наушники, и пальцы его легонько ложились на головку ключа: точка, точка, тире...

Радисту хотелось спать. «Заварю-ка я чаю,— решил он,— может, сон и пройдет...» И принялся растапливать печку.

«Скорее бы кончилась война,— думал радист, разделявая полено на щепки.— Поехал бы я домой, в деревню... Только войне-то конца не видно...»

В это самое ночное позднее время к радисту вошли три человека. Матроса из охраны радиостанции радист знал. Другие ему были незнакомы. Один совсем штатский человек, в пальто и потертой кепке, а второй — трудно сказать кто: военной выправки, в офицерской шинели, но без погон.

Штатский незнакомый человек спросил разрешения присесть к столу и начал быстро-быстро писать на листках тетради.

— Чаю не хотите ли? — спросил радист.

— Чай — это хорошо, — сказал штатский человек. — Но сначала, товарищ, пожалуйста, передайте вот это...

Радист включил передатчик, и человек начал диктовать.

— «Радио всем! — сказал он. — Солдаты! Дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира...»

Человек говорил о бедствиях войны и что армия должна любой ценой добиваться перемирия на фронте... Точка, точка, тире, тире, точка...

Невидимые искры слетали с проволочных антенн, и сигналы летели над всем земным шаром...

Совсем уже расхотелось спать радисту.

— Чья подпись под радиограммой? — спросил он.

— Мы с товарищем Крыленко и подпишем, — сказал человек. — Пожалуйста: Председатель Совета Народных Комиссаров Ульянов (Ленин). Нарком по военным делам Крыленко...

Дрогнула было рука у радиста. Шутка ли! Сам Ленин стоял с ним рядом! Но радист службу и дело знал исправно. Рука его довершила текст радиограммы. И подпись — «Ленин»...

Дом, где была радиостанция «Новая Голландия», цел и поныне, и его можно отыскать. В Ленинграде, неподалеку от Невы, на сильно заросшем теперь кустами и лопухом канале Круштейна. Карл Яковлевич Круштейн был матрос-революционер. Погиб от руки эсера в 1921 году...

Так вот, дом я разыскал. И мостик, по которому на радиостанцию когда-то вместе с Крыленко быстро прошел Ленин. И комнату ту с высокими сводами, где была исто-

рическая радиостанция, нашел. Но вот о радисте, который говорил с Лениным и передал его радиограмму, ничего узнать не смог! И кто был этот радист — неизвестно.

И если вам случится о нем хоть что-нибудь узнать, сообщите мне непременно. Я любитель исторических подробностей...

КАК МАЛЕНЬКИЙ «ЯСТРЕБ» ПОМОГ РЕВОЛЮЦИИ

Суровый месяц октябрь 1917 года был на исходе.

По улицам российской столицы то и дело проходили отряды рабочих, солдат и матросов. У Смольного над винтовочными пирамидами развевались красные флажки... Винтовки... Винтовки... Всюду винтовки. Но для успеха восстания оружия все равно не хватало.

Тогда Центробалт — штаб революционных моряков Балтийского флота — отдал распоряжение доставить оружие из арсеналов полков, которые были расположены в Финляндии. Доставить оружие можно было только морем.

Маленький сторожевой корабль «Ястреб» стоял в порту Гельсингфорса. Командир его прилег на койку отдохнуть, но его разбудили. Вахтенный матрос подал пакет. Командир надорвал конверт. На серой бумаге служебной депеши было четко напечатано:

«СЕКРЕТНО

...С ПОЛУЧЕНИЕМ СЕГО СРОЧНО ВЫЙТИ В ФРИДРИХСГАМН; ПО ПРИБЫТИИ ЯВИТЬСЯ В ПОЛКОВОЙ КОМИТЕТ ВО ФРИДРИХСГАМНЕ И ПРИНЯТЬ ВИНТОВКИ. ПО ПРИНЯТИИ ВИНТОВОК СЛЕДОВАТЬ В ПЕТРОГРАД».

От Гельсингфорса до Фридрихсгамна рукой подать. Погрузку начали глубокой ночью. По палубе грохотали солдатские сапоги. Гарнизонные солдаты помогали грузить ящики с патронами, несли пулеметы...

Перед выходом командир «Ястреба» собрал команду.

— В Петрограде с часу на час начнется восстание, — сказал он. — Мы должны успеть доставить оружие рабочим. В море сейчас плохая видимость, туман, дождь. В Финском заливе на каждом шагу камни. Мы пойдем полным ходом. Всякое может случиться. Предупреждаю об опасности. Желающие могут остаться на берегу.

В море ушел весь экипаж. Извилистыми шхерами, среди

камней и мелей, промозглой туманной ночью мчался «Ястреб» в Петроград.

Иногда командир доставал из нагрудного кармана пакет и перечитывал секретную депешу. «Что там, в Петрограде? Успеем ли?» — думал он. Машины работали самым полным ходом. Посветлело. Стал виден Петроград. На берегах Невы у догоравших костров еще грелись люди. «Ястреб» подошел к набережной. Его ждали рабочие. Вооружались прямо на палубе, рассовывая пачки патронов по карманам, пробуя тугие от смазки затворы. Выкатывали на берег и заряжали пулеметы. От корабля вооруженные отряды уходили в город: к Смольному. Начиналось восстание.

Так маленький корабль «Ястреб» помог великому делу революции.

ПОСЛЕДНЯЯ РАДИОГРАММА

Недаром говорят: «Радист пишет». А пишет радист морзянкой — азбукой Морзе: точка — тире — точка — тире...

Но всякий радист на слух всегда отличит, с какого судна и кто пишет морзянкой. Потому что у каждого радиста свой особый почерк.

И вот как однажды такой почерк пригодился.

В июне сорок первого года наш пароход привез груз в балтийский город-порт. До начала Великой Отечественной войны оставалось всего три дня. В городе были фашисты.

Поздно вечером на палубе парохода появились немцы. Капитану парохода власти объявили: «Выход в море запрещен! Экипажу на берег не сходить!»

И тотчас у трапа с винтовками наперевес встали часовые.

А чтобы с парохода никто вести по радио не подал, фашисты опечатали дверь в радиорубку.

Моряки понимали: дело неладное... Должно быть, война...

Но что можно сделать в чужом, враждебном порту, на пароходе, который охраняют, словно тюрьму, да еще с умолкнувшей радиостанцией?..

На пароходе был молодой и смелый радист Юрий Стасов. В полночь он тихо постучал в каюту капитана. Говорили они недолго. Через несколько минут Стасов, словно тень, скользнул к окнам радиорубки. Осторожно, без единого звука, снял тяжелое стекло и проник внутрь. Часовые ничего не заметили.

На ощупь Стасов включил радиостанцию, положил пальцы на ключ передатчика...

Над темной, грозовой Балтикой полетели в эфир радиосигналы: «Фашисты захватили наш пароход. Фашисты захватили наш пароход...»

Радист спешил. Он вел передачу открытым текстом, не зашифровывая слова. Он предупреждал другие пароходы, которые в ту ночь держали курс на германские порты.

И вместо позывных радист подписал радиограмму своим именем: «Юра». Он знал, что почерк его и имя знают все радисты Балтики. И поймут...

Но это была его последняя радиограмма.

ОТЕЦ И СЫН

В сущности, не так уж давно по этому причалу гуляла отдыхающая публика. В небольшом ресторане на берегу оркестр играл «Последнее танго». А по веселым волнам Цемесской бухты сновали белые прогулочные катера.

Теперь на причале стояли зенитные орудия, сторожа небо своими тонкими стволами. От ресторана же остались развалины. А в бухте, прижимаясь как можно ближе к берегу, чтобы быть незаметными в тени гор, хоронились эсминцы, военные катера и подводные лодки.

К причалу они подходили только для того, чтобы принять на борт людей да погрузить боеприпасы. И тотчас направлялись в открытое море. Курс брали на Севастополь.

Уже несколько месяцев Севастополь сражался в кольце фашистских войск. И помочь защитникам города можно было только со стороны моря.

Поэтому каждый день из Новороссийска уходили корабли с подкреплением.

На морских дорогах их поджидали фашистские подлодки, торпедные катера и самолеты-торпедоносцы.

Но корабли все равно прорывались к Севастополю и выгружали снаряды, хлеб и солдат. И, забрав раненых, женщин и детей, уходили обратно.

В тот день у причала под погрузку встали два корабля. Лидер эсминцев «Ташкент», славившийся своей быстротой на всем Черном море, и эсминец «Безупречный», не раз оправдавший свое название — настолько он безупречно де-

лал все, что ему поручали: высаживал десанты, охранял караваны транспортов, отбивался от самолетов врага.

Сейчас на «Безупречный», брякая котелками и оружием, вереницей поднимались по трапам солдаты. Они горбились от тяжелых вещевых мешков и поднимались медленно от непривычки ходить по корабельным трапам.

Командир «Безупречного», Петр Максимович Буряк, стоял на мостике, ожидал, когда ему доложат, что последний солдат ступил на палубу и погрузке конец.

— Эсминец принял триста двадцать человек!— доложили командиру.

— Добро!— сказал командир помощнику.— Сейчас же и отходим. Мы пойдем первыми. «Ташкент» уйдет за нами. Через полтора часа...

В списках команды «Безупречного», или, как говорят моряки, по судовой роли, числилось Буряков двое. Один — командир эсминца, другой — при автоматической зенитной пушке заряжающий, Володя Буряк. Отец и сын...

У командира не раз спрашивали:

— Зачем берешь мальчишку в опасные походы? Оставил бы на берегу. Спокойнее...

— А потому,— отвечал Петр Максимович,— беру, чтобы команда знала: раз мальчишка со мной, значит, я, отец, надеюсь вернуться с ним назад.

Но в этот поход он Володю брать не хотел: все труднее стало прорываться к Севастополю. В последний момент все-таки оставил сына на эсминце.

На мостик поднялся комиссар.

— Володьку опять взял? — сказал он.— Ну ладно, это, конечно, твое дело. Но если я его, стервеца, увижу в походе без спасательного пояса, не знаю, что сделаю. И с ним и с тобой... Своей комиссарской властью.

— Ладно,— сказал Буряк,— велю, чтобы не снимал.

Из Цементской бухты эсминец вышел после полудня. Шли весь день. Настала ночь. Было темно и беззвездно. Гудел в антеннах теплый ветер, вспыхивала белыми пятнами за бортом вода, дрожала металлическая палуба. У 37-миллиметровой пушки-автомата прикорнули двое комендоров.

— Ну как, Володя, что говорит отец? Дойдем?

— Отец молчит.

С рассветом обозначились голубые горы. Острым зубцом поднялся Ай-Петри. И тогда ударили колокола громкого боя. Тревога!

В рассветном небе повисли черные точки. Двадцать

«юнкеров» шли на корабль. Часто захлопали автоматы, затрещали крупнокалиберные пулеметы. С тяжелым ревом один за другим стали пикировать на эсминец «юнкерсы». Они снижались почти до мачт. Светлые трассы снарядов неслись им навстречу.

Заряжающему — только поворачиваться, подавать тяжелые обоймы со снарядами. Сбросил Володя и пробковый пояс, и бушлат сбросил, чтобы ловчее работать у пушки.

Один «юнкерс» задымил. За крылом второго вытянулось пламя. Третий рухнул вниз, вспоров воду крылом.

Но бой был неравный: слишком много было самолетов. Сменяя один другого, сваливались они в пике, целясь бомбами в палубу. Огненный столб вырос вдруг над кораблем. «Безупречный», теряя ход, окутываясь клубами пара из развороченных котлов, уходил средней своей частью в воду, переламываясь пополам.

Володя искал глазами мостик эсминца и отца на нем и ничего уже не видел.

Кто-то из моряков силой потянул его с ускользящей из-под ног палубы в воду. Пробковый пояс он не успел надеть и ухватился за обломок доски...

Володя пытался плыть к берегу, но слишком далеко был этот синий, похожий на длинное облако берег.

В Новороссийском краеведческом музее — две фотографии. Капитана третьего ранга и матроса. Отца и сына. Там же можно увидеть и донесение командира дивизиона миноносцев:

«26 июня 1942 года при исполнении боевого задания командования по доставке оружия и боезапаса для обороны героического города Севастополя тов. Буряк вместе со своим сыном Владимиром Петровичем, семнадцати лет, который с начала Отечественной войны был зачислен добровольно на эсминец «Безупречный», погибли смертью героев».

БОМБЫ

Это было в августе 1941 года. Фашисты окружили Ленинград и двигались уже по направлению к Москве.

Каждую ночь они бомбили наши города, а советские летчики отвечать им тем же не могли: немцам с захвачен-

ных аэродромов летать близко, а нашим самолетам до Берлина не достать — на обратный путь не хватило бы бензина.

И вдруг, посчитав, наши летчики обнаружили, что есть один такой аэродром на нашем острове Эзель в Балтийском море, откуда можно долететь до Берлина и вернуться назад. И они нанесли по Берлину первый удар, а потом второй. Стали бомбить столицу гитлеровской Германии!

Но скоро случилось так, что на этом аэродроме кончились все бомбы и подвезти никак было нельзя: фашисты перерезали железную дорогу Ленинград — Таллин и вышли к южному берегу Финского залива.

Нет бомб — и не летают наши самолеты на Берлин. Хоть рельсы под крылья подвешивай! И такое во время войны бывало... Послали из Кронштадта два корабля с грузом бомб. Но оба они подорвались в пути на минах и затонули. А летчики ждут.

Тральщик «Кнехт» только что вернулся с боевого задания, и командир его отдыхал. Приходит вестовой: срочный вызов в штаб. Командир пришел в штаб, а там приказ: «Не считаясь с потерями, доставить на остров Эзель срочный груз...» Ясно, какой груз: бомбы.

Погрузили их на тральщик тридцать штук, здоровенные — по пятьсот килограммов и по тысяче! Бомбы эти матросы прямо на палубе уложили, словно бревна, и закрепили. А детонаторы, взрыватели то есть к бомбам, командир в своей каюте в сейф закрыл. Каюту запер — и ключ в карман.

Вышли в море. У острова Лавенсаари видит командир, что над тральщиком фашистский самолет-разведчик «рама» летает. Кружит, рассматривает тральщик, наверное, своим общаает. Комиссар говорит командиру:

— Ну, командир, фотографирует нас этот чертов фриц. Сейчас бомбардировщики прилетят...

Командир молчит. На море смотрит. А на море ни тумана, ни облачка, ни дымки. Видимость полная. Тральщик — как на ладони. Не спрячешься.

И верно, прилетели вражеские бомбардировщики. Много. Парами идут и поодиночке. Сколько их было, и не считали. Самолет за самолетом, триста бомб сбросили фашисты. Носовое орудие тральщика стреляло, стреляло и вдруг замолчало. В чем дело? Докладывают командиру:

— Снаряды кончились. Остались одни практические. Это значит, болванки, которыми по учебным щитам стреляют... Командир приказывает:

— Огонь практическими!

Это чтобы те, кто внутри корабля, кто бой не видит, а только слышит, знали, что орудие не молчит, отбивается...

Сигнальщика на мостике убило, и комиссара ранило. Остался один командир, от копоти черный, как головешка. Одна бомба возле борта ухнула так, что компас из карданова подвеса вылетел! Но тральщик уже к Таллину подошел и встал на рейде под защиту зенитных батарей — бомбы выгружать.

Стоит тральщик на рейде, смотрят моряки: горит город. Больно смотреть.

Хотели раненого комиссара на госпитальное судно, которое в Кронштадт уходило, переправить, а он подозвал командира и говорит:

— Командир, вместе мы с тобой плавали, вместе воевали, и уж если тонуть — пускай тоже вместе...

Махнул командир рукой: оставьте его, мол, на тральщике.

Бомбы на катера перегрузили и дальше на Эзель повезли.

И снова наши летчики бомбили Берлин. Пехотинцы говорили тогда:

— Раз летчики долетают, и мы дойдем!

СОЛДАТ С ВИНТОВОЙ

В теплую августовскую ночь 1941 года тральщик «Кнехт» уходил из Таллина. К городу приближались фашистские войска, и город и порт было приказано оставить.

Узкий и длинный голубоватый корпус корабля то входил в полосы тумана, то стремительно выскальзывал из них. Ключья тумана вились вдоль бортов, цепляясь за леерные стойки.

Только миновали мыс Юминда, как вахтенные доложили командиру:

— Прямо по курсу видны люди на плавающих предметах!

Командир поднял к глазам тяжелый бинокль. Далеко на пологих волнах качались обломки досок... Люди звали на помощь... Это были моряки и пассажиры с торпедированного фашистами транспорта.

Командир приказал вахтенным наблюдать за морем и воздухом. Он знал: застопорит тральщик ход — его легко можно потопить торпедой или бомбой.

Вывалили за борт шлюпки, принялись подбирать с воды людей. Бросали концы с бортов тральщика тем, кто сам подплывал, подтягивали, вытаскивали. Спасли тридцать человек. Тральщик дал ход. Забился на ветру флаг. Небо чистое, горизонт ясный. От утреннего тумана—ни следа. Справа слышен грохот канонады—бой идет на суше. Слева по воде грохот доносится—бой идет на море...

Снова вахтенные докладывают командиру:

— Видим обломки корабля... Людей видим... Слева по борту...

Развернулся тральщик. Подошел. Застопорил машины. Хорошо, что самолетов врага не видно, где-то они в другом квадрате, в другой части залива. Чуть движется тральщик по инерции в тишине. Люди с воды кричат, руками сильно плещут: боятся, что не заметят, не подберут.

Пулеметы тральщика стерегут небо, пушки стволами нацелились в море.

— Подобрали сорок четыре человека,—доложили командиру.—Все помещения на корабле заняты спасенными.

— Возьми ключ,—сказал командир комиссару,—открой мою каюту. Двух человек можно положить на койку, трое поместятся на полу.—И командовал:—Полный вперед!

Помчался, полетел на крыльях белой пены тральщик. На предельных оборотах работают машины. Уже далеко позади оставили остров Сескар, и до Кронштадта несколько часов ходу. Снова вахтенные:

— Человек за бортом! Много людей на воде!

И снова командир приказывает остановиться. Сам на мостике словно застыл, навис над палубой. Уж и людей принимать некуда. Но и в море не бросишь! Командир молчит, не подгоняет матросов, ждет. Всех до единого, кажется, подобрали. Нет, видят, один еще далеко плывет. Командир присмотрелся: человек в одном нижнем белье, в руке—винтовка со штыком, другой рукой подгребает. Подобрали и его. На палубе обессилел человек, упал на руки матросам.

— Прикажи, чтобы дали одежду,—сказал командир комиссару,—да узнай фамилию. Этого солдата к награде бы представить. Солдатский долг твердо помнит.

Двинулся вперед тральщик. Уже близко и Кронштадт.

Добрался тральщик до своих и всех спасенных доставил.

А тот солдат с винтовкой так среди других незаметно на берег и сошел.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛЕГЕНДЫ

Был я на Севере, в городе Мурманске, и случайно узнал об Александре Шейченко. В годы Великой Отечественной войны он, еще мальчишкой, воевал с фашистами на Малой земле — юнгой на «морском охотнике».

Однако мне с самого начала не повезло. Когда узнал я адрес Шейченко и вечером пришел к нему домой, мне сказали:

— Александр Дмитриевич только что уехал в порт. Там вы его и найдете. Спросите капитана траулера «Сулин».

На следующий день я был в порту и искал траулер «Сулин». Но «Сулин» ушел в Южную Атлантику — на лов рыбы и должен был возвратиться через четыре месяца...

Год спустя приехал я в Новороссийск и решил узнать подробнее о том, как юнга Саша Шейченко воевал в этих местах, на Малой земле. А мне говорят:

— Вы знаете, две недели назад Шейченко был здесь. Он приезжал в отпуск и побывал в гостях у новороссийских пионеров. Много рассказывал. Отвечал на вопросы ребят. Чуть-чуть бы вам поспешить — застали бы его. А сейчас Александр Дмитриевич уехал обратно в Мурманск, потому что отпуск у него кончился.

Снова, как видите, неудача. Я расстроился. А люди говорят:

— Вы не огорчайтесь. Во Дворце пионеров встречу с Шейченко записали на магнитофонную ленту. Попросите разрешения прослушать запись, и вы, наверное, узнаете кое-что.

Так я и сделал.

И все, о чем вы сейчас читаете, было записано на той самой магнитофонной ленте. Я только опустил самое начало, где были слышны аплодисменты, когда ребята встречали Шейченко, и вопрос какой-то девочки, которая просила Александра Дмитриевича рассказать о себе.

Итак, вот что там было:

«Ребята! Это было так давно, что трудно вам все рассказать. Но вы такие хорошие... И я вам, что вспомню, расскажу.

Родился я в 1928 году в городе Ростове-на-Дону и там же в 1941-м окончил семь классов. Мне шел четырнадцатый год, и, как все мальчишки, я был любознательный. В нашей школе преподавал хороший учитель истории. Он так замечательно рассказывал нам о полководце Суворове и сказал,

что в городе Измаиле Суворову поставлен памятник и что на этом памятнике Суворов как живой.

И вот у меня и еще троих моих товарищей, школьных друзей, появилась мечта побывать в городе Измаиле и посмотреть памятник Суворову.

В июне 1941 года мы и поехали в город Одессу, а из Одессы направились в Измаил.

Однако на полпути к Измаилу сняли нас с поезда и привезли в милицию.

Начальник стал спрашивать, куда и зачем едем. Мы рассказали всю правду. И про Суворова, и что из дому убежали. Начальник милиции улыбнулся и сказал: «Вот так, голубчики. Придется вам посидеть у нас до завтрашнего дня. Я дал распоряжение отвезти вас обратно в Ростов-на-Дону. Сопровождать вас будет милиционер. Как же вы поехали в город Измаил без пропусков? Без пропусков нельзя...»

А на другой день зашел к нам милиционер и заявил: «Выходите, ребята! Поедете в Ростов сами. Началась война, и у нас нет времени и возможности вас везти. Идите на вокзал и попытайтесь уехать. Война все перемешала...»

И мы пошли. Война и вправду все сразу перемешала. Поезда с пассажирскими вагонами стояли и никуда не шли, а проходили эшелоны с воинскими частями, и все — на запад. И ни один поезд не шел в Одессу.

На вокзале началась бомбежка. Бомбили и днем и ночью. Мы сначала прятались, но потом решили не оставаться на вокзале, а идти пешком по железнодорожным шпалам. Но когда бомбежки на железной дороге участились, мы свернули на проселочную дорогу в лес. По проселочной дороге двигалось очень много людей. Многие с котомками за плечами. Женщины несли на руках маленьких детей. Колхозники гнали скот.

Потом мы увидели подводы, на которых были дети. Мы спросили, кто они. Оказалось, что их эвакуируют как раз в Ростов-на-Дону. Мы обрадовались и решили от этих детдомовских ребят не отставать и с ними добраться домой.

Вот здесь на дороге я впервые встретился со смертью. Фашисты без конца сбрасывали с самолетов бомбы на дорогу. А на дороге — мирные люди. Это было самое страшное, что я видел. Бомбы попали в ехавшую впереди подводу, где сидели малыши. Многих поубивало и многих ранило...

С испугу мы разбежались кто куда. Я потерял своих друзей из Ростова и бежал по кукурузному полю до тех пор,

пока не упал. И сразу же уснул. Потом я пошел. А шел я, ребята, днем и ночью, день и ночь. Иду днем и от усталости засыпаю. Просыпаюсь ночью и снова иду. Один раз я спал и не знал, что сплю недалеко от села. На меня, спящего, случайно наткнулись наши разведчики и привели в свою часть, к коменданту. Комендант выслушал меня и сказал: «Ты иди отсюда, сынок, подальше. Здесь будет бой. Ты еще мал, и мы тебя с собой оставить не можем».

Я вышел из хаты и пошел по селу, еле переступая от усталости и голода ногами. Навстречу мне лейтенант. Поравнялся со мной, остановил и спросил: «Мальчик, почему ты такой грязный? Как тебя зовут?»

Я заплакал и все рассказал лейтенанту о себе. А грязным я был, ребята, не потому, что не хотел умываться. По дороге было трудно найти воды напиться, не только умыться.

Лейтенант был командир роты. Он был хороший человек. Посмотрел на меня и сказал: «Пойдешь, Саша, со мной в мою часть. Будешь у меня вестовым».

Я не понял, кем я буду, и командир объяснил: «Про Чапаева кино видел?»— «Видел...»— «У Чапаева был Петька. Помнишь?»— «Помню».— «Вот ты и будешь мой Петька... Называть меня будешь по всем правилам: лейтенант товарищ Семин. Ты — солдат, Саша, первого морского пехотного полка. Ясно?»— «Ясно, товарищ лейтенант Семин...»

Лейтенант Семин привел меня к своим солдатам и дал распоряжение: меня отмыть, пошить мне форму, накормить, но ни в коем случае не стричь волосы... А волосы у меня за время скитаний отросли длинные, чуть не до плеч. Меня это распоряжение очень удивило, а после мне стало ясно: я попал к разведчикам и буду им помогать. С моими нестриженными кудрями, рваной одеждой, грязным лицом, котомкой через плечо, где лежали кусочки обгрызенного хлеба и кукурузы на меня никто не обратит внимания...

Первое задание, на которое я пошел с разведчиками, было привести «языка». И обязательно офицера.

Мы пробрались в тыл к немцам. Я пришел в село, где имелась явочная квартира. У хозяйки квартиры были дети. Договорились, что меня примут в семью якобы из жалости. Разведчики же мне велели уточнить, в каком доме живет немецкий офицер. И проследить, когда он бывает дома, кем дом охраняется и как того офицера взять...

Играя вместе с детьми, я бегал по улицам, но не столько играл, сколько наблюдал за всем. И уточнил, что в одном доме живет обер-лейтенант (обычно немцы если поселя-

лись надолго, то выбирали себе дома получше, жильцов выгоняли и жили одни, охраняемые солдатами).

Все, что я узнал, я немедленно сообщил нашим. Один раз я увидел, как офицер пришел пьяный, разогнал охрану и завалился спать. Я сразу сообщил разведчикам, и ночью мы его взяли.

За выполнение первого задания командующий армией сам вручил мне медаль «За боевые заслуги».

Было еще одно важное задание. Мы обороняли город Одессу. А с Аджукского била беспрерывно батарея. Она очень нам мешала. Командование решило взорвать батарею. Но как? Дали задание нашему командиру разведки, а он решил послать меня. Пошел я в Аджукский оборванным мальчишкой. Познакомился с одной семьей. Жил у них. Бегая с ребятами по берегу, я внимательно все осматривал и думал, как лучше взорвать батарею. Бегали туда часто, и солдаты-немцы привыкли к нам. Изучив все, я своим сообщил, что батарею взорвать нельзя, а вот дамбу можно. И тогда вода из озера затопит батарею.

Разведчики стали мне приносить тол — небольшими пачками. Бегая по дамбе, я определил, куда заложить тол. Когда тола накопилось достаточно, я вставил запал, протянул шнур, зажег и убежал. Дамба взорвалась...

Трудно вспомнить обо всех заданиях, которые я выполнял, но сейчас я вам расскажу, как я попал к фашистам в плен. Этого я забыть не могу. Вот мои руки, и они напоминают мне об этом ежеминутно.

Однажды командир получил сведения: фашисты готовят танковое наступление. Но где танки и сколько их, разведчики уточнить не могли. Много раз они возвращались из немецкого тыла без всякого результата. И вот вызвали меня, и командир сказал: «Саша, наши разведчики вернулись, но расположение немецких танков не уточнили. Я думаю послать тебя. Но ты можешь не ходить, отказаться. Это моя просьба, а не приказ...»

Я согласился.

Командир указал квадрат на карте, где искать. Там, между Ильичевкой и Беляевкой, было много оврагов, леса и копен сена.

Переодевшись в нищего, с холщовой сумкой через плечо, где были сухари, я пошел. Штаны на мне были рваные, одна штанина короче другой. На разведку был дан недельный срок. Через семь дней я должен был вернуться, найду я или не найду танки.

Ночью меня саперы перевели через линию фронта, пожелали удачи, и я пошел по тылам немцев. Долго я ходил по лесам, оврагам, деревням, но танки нигде не обнаружил. Прошло пять дней, и я стал возвращаться. Было мне очень грустно и обидно от мысли, что не выполнил задания. Вышел я на открытое поле, на котором стояло много копен сена. Усталый, я решил сесть под копну. Только подхожу к копне, а из нее вылезает солдат-румын. Я испугался, но быстро пришел в себя и сказал: «Пан румын, дайте воды...» Румын дал мне свою фляжку. Я потянул из нее и поперхнулся — мне обожгло рот. Во фляге был чистый спирт. Я стал плевать, а румын — хохотать. А потом ударил меня, выругался и прогнал.

Отбежав от румына шагов на двадцать, я оглянулся на своего обидчика и увидел, что он полез снова под копну. И еще я увидел блеск стали и догадался, что под этими копнами стоят танки...

Немцы нарыли ям, в ямы спустили танки, а сверху сделали копны из травы и стеблей кукурузы.

От радости я побежал по направлению к своим. Навстречу шел немецкий патруль с офицером. Когда поравнялись, офицер на меня зло посмотрел, но не остановил. Пропустил. Я ускорил шаг.

Однако я не сделал и десятка шагов, как услышал окрик: «Рус! Остановись!» Подбежали два солдата, схватили меня и повели к офицеру. Немецкий офицер стал на меня кричать: «Рус! Ты есть русский разведчик!» — «Нет! Я иду домой, я не разведчик...»

Он приказал меня обыскать. Из сумки моей полетели на землю кусочки кукурузного хлеба, сырая кукуруза, а в карманах моих рваных штанов нашли две пули от русской винтовки. При виде русских пуль офицер покраснел и ударил меня по лицу: «Рус разведчик! Ты есть разведчик!»

Солдаты связали мне руки и повели в свою часть.

Офицер устроил мне допрос: «Кто тебя послал в разведку? Где ваша часть?» Я твердил одно: «Я не разведчик. Иду домой. Потерял маму...» Ober-лейтенант ударил меня так сильно по лицу, что у меня сразу вылетело два зуба. Потом меня долго били...

Я терял сознание. Меня обливали водой, а когда приходил в себя, снова били. Помню, как связали мне руки веревкой и принесли железный ящик с углями и кузнечные мехи. Угли разогрелись, на них положили длинные блестящие иглы, раскалили их на углях добела и пихали мне

в живот. От невыносимой боли у меня начались судороги, правая рука сорвалась с веревки и со всего размаха ударила немца в нос. Он залился кровью, еще больше разозлился и велел принести гвозди и молоток. Меня приподняли и прибили за руки к стене. Мне уже не было больно. Только слышно, как хрустели кости рук, а в глазах бегали оранжевые круги.

Прибив меня к стенке, гестаповцы выжгли на груди у меня звезду. Я потерял сознание. Пришел я в сознание от сильного сотрясения здания. Лежал на полу весь мокрый. Когда пришло сознание, я услышал бомбежку и понял, что это бомбят наши. Обрадовался, приподнялся, сел и тут же увидел недалеко от себя окно. Грудь мою пекло так сильно, что у меня появилось желание прислониться к стеклу грудью, и я пополз.

Руки мои были как два бревна. Приподнявшись около окна, я решил прыгать вниз, пока нет немцев. С большим трудом я своими разбитыми руками вынул стекло и выглянул из окна. Я был на втором этаже. Я подумал: если не выпрыгну, меня все равно замучают гестаповцы. Если, прыгая, я разобьюсь, то лучше смерть, которая избавит меня от мук. Я выпрыгнул удачно и пополз в кусты. Сколько я полз и куда, не знаю. Терял от боли сознание, снова приходил в себя и снова полз.

...Когда прошло семь дней и я не вернулся, командир вызвал к себе разведчиков и приказал: «Искать и найти мальчишку!»

Нашли меня разведчики случайно, в овраге. Несли на руках, а когда вернулись к нашим, положили в госпиталь. Как только я пришел в себя и понял, что я среди своих, попросил доложить полковнику товарищу Осипову о том, что задание я выполнил: в копнах на полянах спрятаны танки.

Наша авиация на другой день все танки разбомбила.

В госпитале руки мои зажили скоро, а грудь болела долго. Меня в госпитале все любили. Я рассказывал нашим, что делали со мною фашисты, читал бойцам письма и газеты, рассказывал стихи. Когда меня из госпиталя выписали, наша воинская часть была в Одессе. Часть эту фашисты называли — «Черная туча» и «Черная смерть», потому что одеты были морские пехотинцы в черные бушлаты и черные клеши, запроващенные в сапоги.

После тяжелых боев оставили мы Одессу и ушли на оборону Севастополя. Там я получил тяжелую контузию, и ме-

ня на катере увезли в Туапсе. Семь месяцев я не говорил и часто терял сознание. Меня вылечили. Когда я стал ходить и разговаривать, я помогал медсестрам, а раненым читал и писал письма их родным.

Когда меня снова из госпиталя выписали, я пошел в Туапсинскую военно-морскую базу и стал учиться на сигнальщика. Приобрел я эту морскую специальность быстро и немного уже работал флагами.

Однажды я познакомился с командиром «морского охотника» № 051. Он меня взял юнгой в свою команду. Я мыл палубу и каюты, а во время боя подносил снаряды.

Затем я попал в команду «морского охотника» № 054, который из Туапсе шел в Геленджик для высадки десанта на Малую землю в Новороссийске.

В Геленджике я познакомился с товарищем Сипягиным, который потом погиб при штурме Новороссийска. Ему посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Сипягин узнал о моей жизни все. Как-то раз он сказал мне: «Саша! Тебе хватит воевать. Поедешь учиться в нахимовское училище. Сейчас я отдаю приказ об освобождении тебя от всех работ. Проходи врачебную комиссию».

А командиру катера № 054 приказал: «Пойдете на выполнение боевого задания, юнгу с собой не брать! Оставить на берегу!»

«Морской охотник» № 054 ушел. Я остался на берегу. Но мне очень хотелось побывать на Малой земле. Все свободное время я бродил по берегу. И случайно узнал: в Новороссийск идет «морской охотник» № 084. Я пошел к командиру и упросил его взять меня. Если бы я знал, что увижу горящий город, кипящую от снарядов и мин воду в бухте, увижу смерть моих товарищей, лучше бы мне остаться в городе Геленджике...

Когда мы вошли в Цемесскую бухту, начался ад. Наш катер шел с десантом головным, и наша пушка била по береговым батареям.

Заряжающий кричал мне: «Саша! Снаряд!» И я подавал снаряды.

Заряжающий снова крикнул: «Снаряд!», но я не успел подать снаряд. Возле нашего борта взорвалась бомба, и огромный столб воды обрушился на катер. Меня смыло в море.

Случилось это уже неподалеку от берега, в том районе, где сейчас на берегу пятая школа... Была ночь. С берега светили прожектора. Ракеты на парашютах, опускаясь, осве-

щали Новороссийск. На Малой земле уже бились десантники. Я поплыл к берегу. Пули, снаряды плюхались в воду рядом со мной, но я плыл...

Мне вспомнился Чапаев, когда он переплывал Урал. Чапаев нырял, чтобы пули не попали в него. Так стал плыть под водой и я. Вынырну, вздохну и снова ухожу под воду. Когда я ногами почувствовал землю, а руками уперся во что-то, я обрадовался и вынырнул. Но тут же с испугу закричал и стал плакать: «Мама!» Я уперся руками в убитого знакомого моряка. Немного успокоился, снял с него винтовку и побежал к своим. Своих я нашел и вместе с ними участвовал в уличных боях.

Матросы меня оберегали, всегда окружали со всех сторон, а я очень боялся встретиться с товарищем Сипягиным. Влетит из-за меня командиру, который не выполнил его распоряжения и взял меня с собой... Я подошел к одному командиру и рассказал ему, что нарушил приказ Сипягина. Я попросил отправить меня в Геленджик или в поселок Кабардинку. Командир велел мне идти к берегу и помогать санитарам переносить раненых на мотобот, а потом на мотоботе уходить.

На мотоботе был старшина, веселый украинец. Он увидел меня и сказал: «А это что за воин? Для таких у меня мест нет... Ну ладно, иди седай около собаки. Осторожно. Полкан злой».

Но собаки я не испугался. Подошел к ней, сел, погладил. Она меня лизнула, и мы сразу стали друзьями.

Когда мы вышли ночью, я, пригревшись возле Полкана, уснул. Не знаю, наткнулись мы на плавающую мину или это было прямое попадание, только от мотобота, раненых и веселого старшины ничего не осталось. Остались в воде только мы с Полканом. Меня ранило в ногу, и я захлебнулся. Понял только, что все-таки не тону, а плыву, а Полкан тащит меня за воротник...

С берега нас заметили, вышли на катере и вытащили меня и Полкана. Полкан тоже был ранен, и нас вместе отвезли в госпиталь, в Геленджик. С Полканом я не расставался, и оба мы лечились.

16 сентября 1943 года Новороссийск был освобожден, и меня капитан-лейтенант товарищ Данилкин взял в свою воинскую часть. Я был связным при штабе. Штаб нашей части размещался тогда на набережной, там, где сейчас стоит памятник Неизвестному матросу.

Был в нашей части замполит товарищ Десятников, чуткий

и внимательный человек. Вот сошлись два командира, Данилкин и Десятников, и решили, что мне необходимо учиться. И как только начала работать вечерняя школа, я записался в восьмой класс. Учился в школе № 20. В Новороссийск я привез и свою собаку Полкана. Полкан и дня не мог пробыть без меня, и, когда я шел к семнадцати ноль-ноль в школу, он нес мою сумку с книгами до самого крыльца школы и ждал. Потом, в двадцать ноль-ноль, когда уроки кончались, брал мою сумку и нес до расположения части. Так продолжалось три года. Учиться было трудно, не было книг, тетрадей, писали на газетах, старых книгах. Но у меня, ребята, в редакции воинской газеты был большой друг, редактор товарищ Резаев. Он мне всегда давал газетной чистой бумаги, и я из нее делал тетрадки не только для себя, но и товарищам.

Когда я приходил в редакцию, Резаев приветливо меня встречал и говорил: «Что, Саша, всю бумагу исписал? Ну, иди на склад, бери».

А когда я возвращался, он меня останавливал и спрашивал: «Саша, дружочек, а не много ли ты прихватил бумаги?» Я краснел и отвечал: «Товарищ редактор, я не все себе, у меня есть товарищи, им нужно». Он улыбался, хлопал меня по плечу и говорил: «Ну ладно, приходи еще за бумагой».

Так три года я к нему и ходил...

В 1946 году меня после окончания десяти классов направили в Ленинградское высшее морское училище, которое я успешно окончил.

Сейчас я капитан дальнего плавания. Живу в Мурманске, имею семью. К вам приехал отдохнуть и побывать на местах своих боев...

Многое уже забыто. Но вы, дорогие ребята, не забывайте тех, кто погиб, защищая ваш город. Они погибли, защищая ваше счастье.

Пусть никогда не будет войны. Пусть всегда вам, дети, светит яркое солнце. Пусть всегда живут ваши мамы и папы и вы!

На этом заканчивалась запись на магнитофонной ленте.

А Александра Дмитриевича Шейченко я до сих пор так и не смог увидеть. Но знаю теперь точно: это удивительный человек, легендарный... И надежды познакомиться с ним не теряю.

ЗАПИСКА

В Новороссийском Доме пионеров хранится многое из того, что нашли ребята за годы следопытского поиска: документы, фотографии, вещи,— память о Великой Отечественной войне.

Среди материалов, которые мне случилось там увидеть, есть фотография почти мальчика и записка:

«Если погибну в борьбе за рабочее дело, прошу политрука Вершинина и старшего лейтенанта Куницына зайти ко мне домой в город Ейск и рассказать моей матери, что сын ее погиб за освобождение Родины. Прошу мой комсомольский билет, орден и бескозырку передать ей. Пусть хранит и вспоминает своего сына— матроса. Город Ейск, Ивановская, 35, Чаленко Таисии Ефимовне.

Чаленко Виктор»

Рос Витя без отца. И у матери их, детей, было четверо, он— младший. В первые же дни войны братья и сестра ушли на фронт. А через несколько месяцев с батальоном морской пехоты ушел воевать и Виктор. Его только что приняли в комсомол.

Когда юнга Чаленко попал на Малую землю, он считался бойцом опытным и успел заслужить награду— орден Красной Звезды.

...В тот день моряки-десантники вели бой за гору Колдун. С ее высот Малая земля перед фашистами была как на ладони и хорошо простреливалась. Взять гору нужно было во что бы то ни стало...

Раз за разом поднимались моряки в атаку, но огонь фашистских автоматчиков прижимал их к каменистой земле. Уже немало моряков полегло убитыми, а высоты так и не были взяты. Особенно убийственным был огонь пулемета. Пулеметчик засел в дзоте, и подобраться к нему было нельзя: вокруг проволочные заграждения в несколько рядов.

Чаленко лежал рядом с командиром. Командир старался далеко от себя юнгу не отпускать, берег. Он знал: Чаленко отчаянный, всегда лезет в самое пекло.

— Сейчас снова пойдем в атаку,— сказал юнге командир.— Чтобы от меня ни на шаг! Понял?

— Понял. Только, товарищ командир, посмотрите-ка в бинокль. Левее дзота... Я все приглядываюсь: колючую проволоку в том месте снарядами посекло-побило... Если подползти, можно и гранатой! А?

Командир поднял бинокль, стал наблюдать. «Точно, вроде бы проход в заграждении... Молодец, юнга!»

А когда опустил бинокль и оглянулся, юнги рядом не было. Чаленко, сжав в одной руке гранату, в другой — автомат, ящерницей полз в горячих камнях, подбираясь к дзоту.

— Юнга, назад! — крикнул командир.

Ударил пулеметная очередь. Там, где только что был юнга, пули разбросали щебень и подняли фонтаны пыли. «Неужели убили? Нет, ползет юнга... Живой...» Снова заработал пулемет, и снова фашист промахнулся. Юнга был уже у самого дзота, ужом скользнул между кольями заграждения. Минута прошла, другая... Поднялась от серых камней черная фигурка в бушлате, взмахнула рукой. Взрывом закрыло амбразуру дзота, и замолчал пулемет. Еще минута. Тишина. Пулемет больше не стрелял. И тогда командир поднял в атаку моряков.

— Ур-ра! Полундра!

Бой закончился вечером. Витю Чаленко моряки нашли возле дзота. Кто-то закрыл его лицо бескозыркой.

Записку с адресом матери отыскивали среди вещей погибшего юнги. А всех вещей было: краснофлотская книжка, комсомольский билет да одиннадцать стреляных гильз — личный счет убитым фашистам...

ИСТОРИЯ ДВУХ НАГРАЖДЕНИЙ

Когда Советская Армия в апреле 1945 года с боями вошла в Берлин, наши солдаты в самом логове Гитлера, в его ставке, захватили штабные бумаги — приказы, донесения генералов, секретные письма, сообщения с фронтов...

Среди всего прочего была и телеграмма, помеченная декабрем 1942 года:

«...Противник, имея задачей стратегические цели, пытался высадить на территории Северной Норвегии крупный десант. Подошедшими воинскими соединениями победоносных солдат рейха десант полностью уничтожен. Его жалкие остатки сброшены в море. В боях особенно отличались солдаты: Крюгер, Вельнштадт, Вернер, Краузе, Хольц...»

Телеграмма хранилась подшитой к другим бумагам в архивной папке. Особо отличившиеся солдаты были соответственно награждены Железными крестами различных степеней — согласно заслугам и храбрости. Как-никак они уничтожили крупный десант.

Однако если мы заглянем в историю Великой Отечественной войны, то не найдем никаких сведений об этом случае. Потому что наши в декабре 1942 года никакого десанта не высаживали...

Загадочная, можно сказать, история.

Разгадать ее помог Александр Осипович Шабалин, дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал, мастер торпедных атак.

— Любопытно,— сказал Александр Осипович.— Очень даже любопытно... Только дело-то было совсем не так. А если хотите знать, вот как... Наши летчики заметили, что фашисты перебрасывают войска по дорогам Северной Норвегии. Советскому командованию надо было точно узнать: какие войска? Куда направляются? С какими целями? Словом, нужен был «язык». «Языка» должны были захватить наши разведчики. А доставить разведчиков к берегам Северной Норвегии на торпедных катерах поручили мне.

Был я тогда старшим лейтенантом и командовал торпедным катером № 13.

Все считают тринадцать несчастливым числом, но я в приметы никогда не верил, и меня число тринадцать никогда не подводило.

Вышли мы на двух катерах. Мой катер — головным. За нами — ТКА-14.

Декабрьский штормовой ветер швырял нам навстречу сильные снежные заряды, а когда чуть затихало, с теплого Гольфстрима напоззали туманы. Мы мчались, прижимаясь к берегу, чтобы с моря нас не заметили фашистские сторожевые корабли.

Наконец вышли к тому месту, где по расчетам близ берега проходила дорога. Разведчики высадились и пропали во тьме полярной ночи, а мы отошли от берега и стали ждать, когда взлетит условная ракета... Это бы значило, что разведчики на берегу и нам нужно быстро их вместе с «языком» подобрать.

Разведчики тем временем вышли к дороге и залегли вдоль нее.

Но взять «языка» оказалось не так-то просто. Фашисты двигались по дороге на автомашинах. Пройдет одна колон-

на, перерыв... Другая колонна ползет, притушив фары. В кузовах машин полно солдат.

Наконец разведчики решились. Когда одна колонна почти прошла, они забросали гранатами два последних грузовика.

Колонна остановилась. В панике фашисты бросились в стороны, в темноту. Раздались команды офицеров, застрочили автоматы и пулеметы. Но куда и в кого стрелять — фашисты не знали. Они били наугад, попадая в своих. А тут новая колонна подходит! Эти долго разбираться не стали, пошли в наступление на первую колонну. Заметались лучи прожекторов. Бой разгорелся не на шутку...

Нам с катеров наблюдать и слышать все это было очень тревожно. Шум боя был такой, словно целый полк вступил в сражение. Возможно, так оно и было. Но мы-то беспокоились за наших разведчиков. Помочь мы им ничем не могли. Оставалось только ждать.

Вдруг смотрим: с берега условная ракета! Значит, живы! Успели отойти. Мигом наши катера подлетели к гранитным скалам. Запрыгали на волнах наши надувные лодочки, и вот уже на борт наших ТКА карабкаются разведчики. Да еще и тяжеленные свертки тащат — двух захваченных «языков».

Позади, в горах, все еще шел бой фашистов с фашистами, а мы на полной скорости уходили к своим берегам. И задание выполнили, и не потеряли ни одного человека.

Ну а что же фашисты? Порядком потрепав друг друга, они, наверное, решили доложить своему фюреру: так, мол, и так, нападение крупного десанта русских...

Как там было у них в телеграмме с фронта? «Остатки сброшены в море»? Вот видите. Ну, а сколько фашисты потеряли солдат, они в телеграмме, конечно, не указали. Представили все случившееся как крупную военную операцию и свою победу. Вот и получилась загадка с «крупным десантом» и с награждением Крюгера, Вельншштадта, Вернера и прочих.

...Вот что мне рассказал Александр Осипович.

Но ведь вы спросите: «А история-то — двух награждений?» Ну конечно же! Александр Осипович Шабалин за успешную высадку наших разведчиков был награжден орденом Отечественной войны второй степени, а командир разведчиков, впоследствии дважды Герой Советского Союза, Виктор Николаевич Леонов — орденом Нахимова.

Но это уже были настоящие награды за настоящие подвиги!

ПОДВОДНАЯ ДУЭЛЬ

Этот удивительный случай произошел с подводной лодкой М-176 во время Великой Отечественной войны. Командовал лодкой капитан третьего ранга Иосиф Лукьянович Бондаревич.

Командир подводной лодки «малютки» опустил бинокль и посмотрел на часы. Он любил точность и отметил про себя: «Восемнадцать часов двадцать минут».

Море было спокойно, ветер гнал редкие облака в сторону норвежского берега.

Боцман стоял рядом. Кожанка его была расстегнута. Он держал бинокль, широко расставив локти. У боцмана был свой сектор наблюдения, у командира — свой.

Командир и боцман воевали вместе не первый год и хорошо знали друг друга. Оба молчали и думали о своем. Боцману не нравились облака: в любой момент из-за них мог появиться фашистский самолет. А командир думал о завтрашнем дне и радиограмме, в которой командование предупреждало его о появлении в Баренцевом море фашистских подводных лодок.

— Справа шестьдесят,— сказал вдруг боцман, что-то увидев в бинокль. «Шестьдесят» значило, в каком направлении смотреть.

— Не вижу,— сказал командир.— Сколько кабельтовых?

— Тридцать кабельтовых... Неопределенный черный предмет...— И скороговоркой боцман поправился:— Ясно вижу: рубка подводной лодки!

— Вижу!— сказал командир.— Срочное погружение!

Командир знал точно: в этом квадрате можно встретить только подлодку врага. Он знал также и то, что у его «малютки» всего две торпеды, а у фашистов их не менее десяти...

— Ход — три узла! — приказал командир.— Акустику — слушать.

— Слышу шум винтов справа,— ровным голосом начал докладывать акустик.— Слышу шум винтов слева... Слышу торпеды! Слышу торпеды сверху...

«Малютка» нырнула глубже, и торпеды прошли над нею.

Команда застыла у приборов и механизмов. Страшные это были часы ожидания.

— Слышу торпеды снизу...— снова докладывал ровным голосом акустик.— Слышу торпеды сверху...

И командир бросал лодку то вверх, то вниз.

Фашисты нервничали. Их пугала эта молчаливая советская подлодка, которая не уходила от них и не стреляла.

А боцман считал торпеды:

— Седьмая, восьмая... девятая, десятая...

— Все,— сказал боцману командир,— больше им стрелять нечем. Будем всплывать.

Блестя смазкой, мягко покатился из шахты перископ. Командир щелкнул рукоятками, вжался глазом в резину окуляра.

— Немец всплывает,— докладывал акустик.

И тотчас же командир увидел в перископ черную рубку. Она наискось выходила из воды, и с нее стекали потоки пены.

— Аппарат, пли!

Взрывы торпед услышали на «малютке» все. С фашистом было покончено. И тогда командир снова взглянул на часы: двадцать один час пятьдесят минут... Больше трех часов продолжалась подводная дуэль. А командиру показалось, что прошло не более десяти минут.

ЭЛЬЧАН-КАЯ

В декабре грозно Черное море. Темны ночи, холодна вода. И вдвое опаснее становятся камни и мели у неприютных в это время берегов.

Особым коварством издавна славилась одна скала неподалеку от Феодосии, высокая и отвесная. Знали о ней еще древние мореплаватели и за обманчивый вид прозвали Эльчан-Кая — Корабль-Камень.

И точно, словно громадный парусный корабль, вздымается Эльчан-Кая над морем. В ясный день — красивое зрелище! Но в штормовые черные ночи берегись, моряк... Не один корабль в свое время нашел гибель у подножия Эльчан-Кая.

Когда Керченский полуостров захватили фашисты, Эльчан-Кая сослужил нашему флоту хорошую службу.

Дело в том, что наше командование решило в Керчи и Феодосии высадить десанты и выбить фашистов. Сделать же это можно только внезапно, ночью. А на побережье ни маяков, ни сигнальных огней — все в руках врага. И само побережье под сильной охраной.

Накануне операции глубокой ночью к Эльчан-Кая подошла наша подводная лодка. Быстро спустились в резиновую

шлюпку два человека и стали грести к обледенелой скале.

Через минуту ничего не было уже видно, кроме темневшей Эльчан-Кая. Отошла от скалы подводная лодка, ушла в море и погрузилась в волны.

А в открытом море тем временем приближались к Феодосии наши корабли с десантом.

Ни звезд не было видно, ни огонька. Но все знали: берег приближается.

Молчали командиры, вглядываясь во тьму. И росла тревога за успешный исход десанта, ведь корабли могли не выйти к Феодосии, могли и натолкнуться на скалы.

И вдруг в ночи вспыхнул сильный огонь — знак нашим кораблям, куда идти. Это два смельчака с подводной лодки, обойдя фашистские патрули, поднялись на самую вершину Эльчан-Кая и зажгли фонарь-прожектор.

Уже гремел бой и наши десантники сражались на улицах Феодосии, когда подводная лодка снова всплыла у черной скалы. Это был условный час. Показалась из-под воды рубка, вышли наверх люди. Они смотрели и ждали, не покажется ли надувная лодка. Но никто не спустился со скалы к морю...

Неизвестно, как погибли герои. Известны только их имена — Дмитрий Выжулл и Виктор Моспан. Оба были комсомольцы, оба — флотские лейтенанты.

Скала Эльчан-Кая и по сей день чернеет над морем. Она действительно похожа на корабль.

Будете проплывать мимо в ясный день, посмотрите на вершину Эльчан-Кая. Там и сейчас виден фонарь-прожектор, что светил нашим кораблям в ту тревожную ночь. Его поставили там в память о двух бесстрашных моряках...



СОДЕРЖАНИЕ

Цемесская бухта. Повесть	3
РАССКАЗЫ	
Шахматы лейтенанта Шмидта	59
Записные книжки	63
Непонятный сигнал	68
Однажды ночью на «Новой Голландии» . . .	70
Как маленький «Ястреб» помог революции .	72
Последняя радиограмма	73
Отец и сын	74
Бомбы	76
Солдат с винтовкой	78
Человек из легенды	80
Записка	89
История двух награждений	90
Подводная дуэль	93
Эльчан-Кая	94

Для младшего возраста

Олег Петрович Орлов

ЦЕМЕССКАЯ БУХТА

ИБ № 4162

Ответственный редактор И. Ф. Скорородова. Художественный редактор А. Б. Сапрыгина. Технический редактор Г. Г. Рыжкова. Корректоры Л. И. Дмитриюки и Е. А. Сулякина. Сдано в набор 22.04.81. Подписано к печати 29.10.81. А06854 Формат 70×100/16. Бум. офс. № 1. Шрифт журнально-рубленый. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 17, 39. Учетно-издат. л. 5,38. Заказ № 1033. Тираж 100 000 экз. Цена 40 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



